18+

Глеб Шульпяков

Батюшков не болен

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

Глеб Юрьевич Шульпяков
Батюшков не болен
Серия «Литературные биографии»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70078321
Батюшков не болен / Глеб Шульпяков; под общ. ред. А.Ю. Сергеевой-Клятис: АСТ: Редакция Елены Шубиной; Москва; 2024
ISBN 978-5-17-158135-0

Аннотация

Книга “Батюшков не болен” – художественное исследование судьбы и творчества Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), одного из самых неразгаданных и парадоксальных классиков золотого века русской поэзии. Душевная болезнь рано настигла его, однако наследие оказалось настолько глубоким, что продолжает гипнотизировать читателей. Каждое поколение снова и снова “разгадывает” Батюшкова, и эта книга – еще одна попытка понять его.

Писатель Глеб Шульпяков с любовью воссоздаёт обстоятельства личного, литературного и светского быта, в которых отпечатывается бытие поэта. На страницах книги оживают его друзья и близкие, любимые поэты и художники, а также литературные интриги и скандалы того времени. Вместе с Батюшковым читатель путешествует по Германии, Франции, Англии и Италии, проживает исторические события 1812 года,

Битвы народов и взятия Парижа, свидетелем и участником которых был поэт.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

“Певец, достойный лучшей доли” 7
Часть I 14
Братья 17
Отцы и дети 29
Матери, сёстры, жёны 41
Лучшее время 54
Конец ознакомительного фрагмента. 88

Глеб Шульпяков
Батюшков не болен

Памяти Эдуарда Бабаева

Чтобы судить вещь, а паче человека, должно его видеть со всех сторон, знать всё обстоятельно, и тогда только, подумавши, решиться. Но и тогда я бы боялся суд положить. Один Тот, который выше нас, нас и рассудит.
К. Н. Батюшков – Н. И. Гнедичу. Июнь 1808

Мне почти грустно и очень радостно было получить твоё письмо, мой добрый Тургешек. Ты прав: судьба издаёт нашу жизнь на каких-то летучих листах, какими-то отрывками. Дай Бог, чтобы со временем можно было свести концы с концами.
П. А. Вяземский – А. И. Тургеневу. Май 1818

Серебряков. Утром пошли в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
А. П. Чехов. Дядя Ваня

Художник Андрей Бондаренко

В оформлении книги использованы изображения из собраний Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного Исторического музея, Государственного литературного

музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея-панорамы “Бородинская битва”, Научно-исследовательского музея при РАХ, Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, Русского музея

Вступительная статья и общая редакция Анны Сергеевой-Клятис

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

© Шульпяков Г.Ю.
© Сергеева-Клятис А.Ю., вступительная статья
© Бондаренко А.Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”

“Певец, достойный лучшей доли”

Константин Батюшков – загадочная фигура в русской литературе. Человек короткой творческой судьбы, который рано исчез в неизвестность даже для своих современников. Белинский, упомянувший Батюшкова в одной из своих статей, был уверен, что пишет о покойном поэте – и ошибался. Душевнобольной Батюшков в это время жил в Вологде, но для поэзии он, действительно, умер.

Батюшков – одна из самых значимых фигур на культурной сцене своего времени, и при этом стесняющийся своего дарования, неуверенный в себе, вечно колеблющийся между сознанием важности своего дела и ощущением его несерьёзности, необязательности. Инстинктивно нащупавший “виноградное мясо” поэтического языка, создавший “образ совершенства” русской поэзии, Батюшков был фактически заслонён своим ближайшим другом и соратником В.А. Жуковским, чьё имя известно каждому школьнику. Жуковскому удалось закрепиться в памяти потомков ещё и благодаря знаменитой надписи, которую “побеждённый учитель” посвятил своему “победившему ученику”, неважно, что “учитель” и “ученик” для участников этой истории были понятиями вполне условными. Да что и говорить, Жуковский – гениальный поэт! И тем не менее Батюшков оказал на Пушкина вли-

яние более значительное, нежели Жуковский. А через него повлиял на весь строй русской лирики, создал её гармонический извод. Однако имени Батюшкова не знает и не помнит сейчас почти никто.

Эта историческая несправедливость, связанная, конечно, с трагической судьбой Батюшкова, его ранним уходом в мрак безумия, уже более столетия тревожит сердца исследователей литературы. С конца XIX века и по сей день появилось около десятка книг разных авторов, посвящённых его творческому пути, его стихам и прозе. Перед нами – ещё одна книга, актуально современная, приближающая ту далёкую эпоху и дающая возможность пристально разглядеть с огромного исторического расстояния личность и судьбу поэта, услышать его мелодический язык. Удивительным и, возможно, не задуманным автором образом она оказалась очень в масть нашему времени, вызывающему невесёлые мысли не только о завтрашнем дне культуры, но и о природе человека и об ощущении катастрофичности происходящего вокруг нас, – о насильственной вырванности из привычного обихода, круга мыслей, надежд на будущее и планов на жизнь. Что должен был чувствовать человек, помещённый волею судеб в самую гущу жестокой и кровопролитной войны, разочаровавшийся в своей “маленькой философии”, дававшей ему силы для существования, потерявший твёрдую опору под ногами, то же чувствуем и мы, оказавшись перед вызовами современности.

Важно, что автор книги Глеб Шульпяков – поэт. Это обеспечивает особую оптику, позволяющую догадаться о непроговорённом, понять психологию другого поэта, внимательно вслушаться не только в слова, но и в мелодию его стиха. Про интерес автора к предмету его исследования было понятно уже давно. Глебу принадлежат два очень стилистически точных стихотворений о Батюшкове – оба они вмещают в себя цельный образ поэта. Первое, античное, с эпической интонацией, говорит об органической сопричастности его творчества мировой культуре. Это реализация в поэзии пушкинского упрёка в адрес Батюшкова о “соединении обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни”. Для Пушкина этот эклектизм был неприемлем, у Батюшкова более чем органичен. За туманным окном своего затерянного в снегах хантановского дома он умел разглядеть купола Капитолия. И хотя счастья эта способность ему не обеспечивала, но давала возможность выжить.

В деревне полночь. Спят. Горит одно
окошко в целом доме, но оно
окно сестры. Она читает письма,
потом свеча, взмахнув тенями, гаснет.
“Сорренто! колыбель печальных дней,
где я в ночи, как трепетный Асканий,
бежал, вручив себя волнам на милость…”
Тем временем на небо взгромоздилась
зелёная, как яблоко, звезда —

всю ночь она качается на ветке,
но наш певец не зрит звезды в эфире,
поскольку спит, судьбу в слова вплетая,
и только вологодские коровы,
пригнув рога, бредут на Капитолий.

Второе, более позднее и более трагическое стихотворение о Батюшкове, если не ошибаюсь, автор написал уже в процессе работы над книгой. И создал иной образ – не деревенского жителя, воспаряющего в мечтах в золотой век, но выстрадавшего свою судьбу скитальца:

с анакреоновой песенкой весело
лишнюю тяжесть за борт,
чтобы таможня харона не взвесила
горестей груз и забот —
дух эолийский горация флакка
вышний хранит волочёк
облако родины – веером флага
чёрная точка-зрачок

Надо отметить, что поэзию Глеба Шульпякова населяют многие персонажи русской поэзии, и невозможно было предсказать, что интерес к Батюшкову обернётся пьесой, статьями, публикацией архивных материалов – огромным исследованием, в котором есть и научная точность, и исследовательская основательность, и лично пережитый опыт. И, конечно, поэтическое осмысление личности и судьбы своего героя.

Завораживающе интересны те главы книги, в которых автор прикасается к батюшковской биографии, так сказать, физически, описывая свои поездки по местам, связанным с Лейпцигской битвой народов или годами лечения Батюшкова в Зонненштайне, одной из германских клиник для душевнобольных. Эти впечатления настолько сокращают историческую перспективу, что, кажется, рукой подать до 1813-го и уж тем более до 1828 года. Можно ходить по тем же камням, видеть те же пейзажи. Это ощущение, всегда очень сильное, в книге передано так, что оно может быть легко позаимствовано читателем, стать его собственным.

Перспектива, в конце которой стоит одинокая фигура Батюшкова, в книге всё время расширяется, включая не только события жизни поэта, но и литературный быт и большую историю. В повествование вводятся многочисленные персонажи, родственники и друзья героя, его наставники и благодетели, его сослуживцы, собратья по цеху, военачальники и вельможи, правители и деятели эпохи, мелькают разные страны, расстилается подробная географическая карта перемещений и странствий Батюшкова по России и Европе. Автор добивается многомерности центрального образа, создает ощущение живой жизни, даёт возможность почувствовать вкус времени.

Традиция, в которую Шульпяков встраивает свою книгу, понятна. Как писал Н.Я. Эйдельман о новорождённом С.И. Муравьёве-Апостоле, “мальчик едва взглянул на мир – и уж

попал в омут календарей, религий, имён, мнений, которым вместе тесновато". Это, конечно, тот же метод – тесноты биографического ряда, метод проверенный и очень плодотворный, требующий от автора огромной эрудиции и широты взгляда. И если ни один писатель не может создать из александровской эпохи "3D-модель", то во всяком случае можно попытаться не оставлять Батюшкова в одиночестве его деревенского затворничества.

Одна из важных смысловых и эмоциональных доминант в книге – дневник Антона Дитриха, врача душевнобольного Батюшкова, который сопровождал его из Германии в Россию и вёл подробные записи об этом путешествии (некоторые части дневника опубликованы здесь впервые). Страшные обличия безумия, которые довелось видеть и фиксировать врачу, предстают перед нами в натуральную величину, без прикрас, вторгаясь в рассказ о юности и молодости поэта, о поре расцвета его таланта, о его надеждах на будущее, которые – это уже понятно – никогда не осуществятся. Эта ось скрепляет воедино все этапы жизненного пути Батюшкова, начавшегося с безумия матери и закончившегося собственным безумием. А между всем этим – "лёгкая поэзия", словесная игра, итальянское звучание, попытка изменить мир и собственную судьбу силой творчества. Действительность, пугавшая поэта своей хаотичностью, преобразовалась в его стихотворениях в прекрасный и понятный в своей простоте мир, раздвоенность и противоречивость его сознания обо-

рачивались цельностью и ясностью созданных поэтическим воображением образов. Действие этого необъяснимого механизма в книге Шульпякова зафиксировано довольно точно.

По его собственным словам, он писал книгу, которую сам хотел бы прочитать, поэтому пытаться очертить ее читательскую аудиторию невозможно. Как кажется, она может быть очень широкой, потому что читать о Батюшкове можно поразному. У Шульпякова получился увлекательный роман, он же историческая эпопея, он же биографическое исследование, он же развёрнутое эссе о литературе и её “кошачьих и лисьих следах”. Как говорится – на любой вкус. Могу только позавидовать будущему читателю этой своевременной книги, потому что мною она, увы, уже прочитана.

Анна Чергеева-Клятис

Часть I
Из дневника доктора Антона Дитриха. 1828

16 июня. Утром, около 10 часов, отправился я за больным совместно с бароном Барклай де Толли. Карета должна была дожидаться нас у подошвы горы. На дороге мы повстречали доктора Клодца, который от имени доктора Пирнитца просил нас привезти карету обязательно к самым воротам дома ввиду сильного возбуждения у больного, боясь, что при спуске с горы мы легко можем натолкнуться на неприятные случайности. Простившись с Пирнитцем и его семьёй, мы отправились в комнату больного с тяжёлой обязанностью на плечах. Впереди шёл барон, за ним: я, доктор Вейгель, служитель Яков Маевский, назначенный нам сопутствовать, сиделка Тейергорн. Больной полулежал на софе, свесив одну ногу на пол. Барон подошёл к нему, обратившись к нему на французском языке. Больной ответил, что незнаком с ним и желал бы узнать, с кем имеет удовольствие говорить. Барон, назвав свой чин и фамилию, сообщил ему, что он должен отправляться на родину, прибавив, что карета уже у подъезда и вещи его уложены. “Слишком поздно, – ответил Батюшков по-французски, – я здесь уже четыре года! Конечно, я готов с удовольствием ехать!” Барон представил ему меня

как его сопутника, и больной, после опроса меня, кто я такой, объявил мне, что не нуждается во враче. Русским лакеем остался доволен. Затем быстро вскочил и, бросив на пол только что взятую им летнюю фуражку, резко оттолкнул барона и меня в сторону и, пройдя между нами, бросился ниц перед распятием, нарисованным им самим на обоях углём. Все присутствующие были поражены и глубоко тронуты. Затем, поднявшись, сел на софу и, перепутав сапоги с туфлями, встал, взял фуражку и начал спускаться с лестницы впереди нас. Во всех его движениях и словах проглядывали раздражение и еле сдерживаемая злоба. Ни малейшего проявления радости, хотя исполнялось давнишнее его желание. У дверцы кареты стоял Шмидт, его больничный служитель, Батюшков спросил его, едет ли он также вместе с ним, перекрестил его и сел в карету, которая немедленно отъехала, так как всё делалось крайне поспешно! Высунув из экипажа руку, он делал такие движения назад, как будто хотел безвозвратно отстранить от себя прошлое, и всё время, пока мы выезжали из ворот, кричал: “Проклятие!” Обратившись ко мне, сказал: “Советую Вам молиться Богу”. Сам же он крестился без перерыва, не говоря при этом ни слова. Барон провожал нас на лошади в продолжение целого часа, затем, протянув мне руку, распростился с нами. Больной оставался покойным целый день, отвечая только на предлагаемые ему вопросы, притом кратко и совершенно серьёзно. К вечеру приехали мы в Теплиц; шёл сильный дождь. Я спросил его, как он хочет:

остаться или же ехать дальше? “Это зависит от Вас, так как на этот счёт не имею никаких фантазий” – был его ответ. Мы остались; он, как казалось, сильно истомлённый, улёгся на диван. От еды отказался, хотя за обедом съел только небольшой кусок чёрного хлеба; просил вина для мытья головы, которая у него болела. Ночью несколько раз вставал и, высунувшись из окна, молился Богу[1].

[1] Здесь и далее дневник доктора Дитриха приводится по рукописи русского перевода, хранящейся в Отделе рукописей РНБ. Ф. 50. Ед. хр. 43. Бóльшая часть рукописи публикуется впервые.

Братья

В 1880 году Помпей Николаевич Батюшков, младший единокровный брат поэта Константина Батюшкова, приехал в Даниловское. Родовое имение дворян Батюшковых находилось в 15 верстах от уездного городка Устюжна Вологодской губернии. Дорога, обсаженная соснами, шла через поле и поднималась влево на холм. С переднего крыльца усадьбы открывался широкий вид на поля и перелески, которые тянулись до горизонта. До Вологды отсюда было три дня пути, до Москвы неделя, до Петербурга – две.

Дом пустовал много лет. Он был с мезонином и башенкой, и с выходом на две стороны. Когда управляющий открыл ставни, Помпей увидел, что после смерти отца ничего не изменилось. Как в детстве, с портретов взирали Батюшковы-предки в екатерининских париках и мундирах, а кресло в кабинете стояло так, словно отец сейчас вернётся. Жизнь прошла, а вещи только поглубже спрятали свои истории.

Усадебный парк, разбитый пленными французами, за полвека высоко поднялся, и теперь липовые ветки почти не пропускали свет в окна. Если бы слуховая память умела воспроизводить звуки, в полумраке гостиной обязательно скрипнула половица и раздался голос. Но чей? Почти никого из обширной семьи Помпея не осталось в живых. Отец умер, когда мальчику исполнилось шесть лет, а матери он не

по-мнил, она умерла раньше. Брата Константина похоронили четверть века назад, так и не излечив от помрачения разума. Четверо из пяти сестёр Помпея тоже были в могиле, а с последней, единокровной сестрой Варварой, он был в ссоре.

Помпею Николаевичу перевалило за семьдесят. За свою длинную жизнь он много успел по службе. Историк и этнограф, он служил по ведомству министерства народного просвещения, был действительным тайным советником и кавалером орденов, и даже председательствовал в комиссии по достройке храма Христа Спасителя. К нему обращались "ваше высокопревосходительство". За своего отца, обойдённого по службе, он как будто навёрстывал упущенное. Впереди было одно из главных дел Помпеевой жизни. К столетнему юбилею он хотел издать собрание сочинений и писем "брата Константина", чей портрет и теперь висел в предспальне.

Существует несколько живописных изображений Константина Батюшкова, и все они несхожи друг с другом – как если бы художники изображали какого-то другого, каждый раз нового человека. По счастью, до эпохи фотографии дожил Помпей. На самом отчётливом из снимков его высокопревосходительство запечатлён в полный рост: со шляпой и перчатками в одной руке, и тростью в другой. По родственному сходству братьев можно предположить, как выглядел Константин Николаевич, если мысленно переодеть Помпея в сюртук начала века, повязать пышный платок и убрать голо-

ву по фасону того времени: с начёсанными вперед волосами.

Описывая внешность поэта, современники часто отмечали подвижность его черт. Говорили, что лицо Батюшкова моментально отражает перемену внутренних состояний. При малом даже для того времени росте оно казалось по-детски живым и обаятельным. Крючковатый нос делал поэта похожим на птицу. Что до Помпея, на фотографиях мы видим лицо с тонкой, словно поджатой верхней губой и выдающимся фамильным носом. Брови резко очерчены, широкий лоб открыт. Общее выражение торжественное, что при малом росте производит впечатление отчасти комическое.

Батюшкова Константина крестили в Вологде 8 июля 1887 года. Среди прочих в святцах значились святые ярославские князья Василий и Константин. Имя (Константин) откликнулось в душе отца поэта – Николая Львовича. Оно откликнулось не только именем великого князя Константина Павловича, и не одной лишь близостью соседней губернии. Крестины Помпея, например, вообще не совпадали с днём мученика Помпея. Вероятно, ответ стоит поискать ещё и на книжных полках. Любимыми сочинениями Николая Львовича были античные классики, и он мог запросто дать сыновьям имена великих правителей, о которых они рассказывали. Ничего удивительного здесь, кажется, не было – придворный поэт Василий Петров назвал сына Язоном, среди девочек встречались Клеопатры, бывали и другие случаи. Эту

традицию впоследствии высмеял Гоголь.

Звучными именами Николай Львович как бы напутствовал сыновей в большое плавание. Помпею это плавание действительно удалось. А старший Константин считал себя неудачником. В болезненном рассудке подобное предубеждение принимало обратный характер. Поэт часто требовал самых высоких почестей и на вопрос, зачем ему в храм, мог ответить: “Чтобы посмотреть, как молятся мне”.

В собрание сочинений, которое задумал к юбилею брата Помпей, он хотел включить не только стихи, письма и рисунки Константина, но и биографический очерк. Его взялся написать историк литературы Леонид Майков, младший брат поэта Аполлона Майкова. Однако материала, собранного Помпеем и отосланного (с пометками и комментариями) Майкову, оказалось так много, что очерк перерос в исследование. В трёхтомнике это исследование займёт чуть ли не целый том и на долгое время станет хрестоматией по истории жизни и творчества Батюшкова. Книга Майкова и сейчас выходит отдельными изданиями.

Помпей решил разместить в собрании очерк болезни старшего брата. Он заказал его сослуживцу по Вильно – педагогу Николаю Новикову, но тот погрузился в дело с таким энтузиазмом, что очерк тоже перерос в трактат. Взяв за основу дневники доктора Дитриха, который пользовал Батюшкова на пути из Саксонии в Россию, а потом и в Москве, – Новиков чуть ли не впервые в истории литературы попытал-

ся увязать болезнь с творчеством: как навязчивая идея обуславливает ход поэтической мысли; как творчество превращается в орудие борьбы с раздвоением личности; как это раздвоение оно до поры отражает.

Размышления Новикова, иногда слишком прямолинейные, хоть и перекликались с эпохой декаданса и страстью к тёмной стороне личности – но для Помпея, человека другого времени и понятий, были неприемлемы, особенно в юбилейном трёхтомнике. Он отказался от его печатания. Подобную вязь поэзии и болезни он посчитал вульгарной. Вместо новиковского *opus magnum* он решил дать дневниковую заметку доктора Дитриха.

До наших дней сохранился документ, с помощью которого можно было бы восстановить Даниловское вплоть до чайных ложек и чепчиков, а именно опись усадебного имущества. Её составил дед поэта. О Льве Андреевиче Батюшкове известно, что при Елизавете он воевал в турецком походе, а в 1770-х недолго побыл предводителем дворянства Устюжско-Железопольского уезда. Судя по письмам к сыну Николаю, отцу будущего поэта, нрав Льва Андреевича соответствовал слогу (“Ежелиже неисполнит моего повеления, то поеду в скорости сам в Петербург, и когда ево тут найду, то приезд мой будет к ево несчастию”).

Удалившись в Даниловское, Лев Андреевич зажил обычной помещичьей жизнью. Её материальная сторона отрази-

лась в описи. Перед нами настоящий памятник быту классической русской усадьбы средней руки. Хваткий хозяйственник и сутяга, дед поэта успешно “приращивал” земли. К моменту рождения внука Константина он владел 342 душами мужского пола и 327 женского. Он выслал сыновьям опись для раздела имущества, если таковая потребуется. Как истинный помещик, он пёкся о настоящем ради будущего.

Большая часть вещей сохранялась в доме довольно долго, а кое-что и сейчас окружало Помпея. Среди этих предметов Помпей провёл детство, пока не умерла мать, а потом отец. В письмах к старшим сёстрам поэт Батюшков называл осиротевшего мальчика “нашим маленьким”. Сам он остался без матери примерно в том же, что и Помпей, возрасте. Кроме сестёр и брата, и единоутробной сестры Юлии, у Помпея никого не было.

Помпей хорошо запомнил первую встречу. К старшему брату он относился с детским благоговением – офицер, литератор! Но белокурый, небольшого роста человек, поднявшийся навстречу из-за отцовского стола, мало напоминал боевого командира. Он был похож на отца. Возможно, два образа, отца и брата, слились в сознании мальчика, тем более что Помпей годился Константину в сыновья. Однако настоящей близости между братьями никогда не было. Виделись они редко. Батюшков оплачивал Помпею пансион и с нежностью справлялся о нём в письмах. На этом его “отцовское” покровительство заканчивалось. Только когда придёт время

канонизации Батюшкова-поэта, когда его объявят предтечей и учителем Пушкина, Помпей “сочинит” этот образ – старшего брата-отца и покровителя – для утверждения собственной легенды.

Дед Батюшковых Лев Андреевич был педантом, что хорошо видно по “статьям” описи. Их семнадцать, и каждая посвящена той или иной сфере материальной жизни в Даниловском. Мы знаем, что носили Батюшковы-помещики, каким иконам молились и какие книги читали, на чём готовили и ели, в чём и на чём спали, что запрягали зимой и летом, и чем запрягаемое чинили, и как звали тех, кто чинит, и тех, кто запрягает. Учтено было всё до последнего ухвата и “молошника” – мы даже знаем, сколько “водочных кубиков” (самогонных аппаратов) имелось в Даниловском. Описание одних только рюмок занимает полстраницы: “Рюмочка с золотом водочная, одна. С цветами рюмочка, одна. Полированных малых, две. Толстых с каёмочками водочных, три; да разбито три. Другого манеру с цветами малая водочная одна. Винных рюмок с цветами одиннадцать. Гладких к столу винных одиннадцать. Для наливки гладких малых двадцать одна. С цветами малых для наливки рюмочек, две. Блюдечек хрустальных для закусок разных шесть; в тем числе склеенное одно”. Иногда описание сопровождается пометкой, которая на мгновение приводит картинку в движение: “На заячьем меху одеял два, из них Александре Григорьевне отда-

но одно”. Из небытия извлечены даже несуществующие вещи, например, “сорочка галанская”, пущенная на галстуки, или шпага, “украденная Омельяном”.

До открытия уральских месторождений из болотной устюженской руды добывали железо. Пётр I метал в шведов ядра, отлитые на здешних “железопольских” заводиках. В Устюжне, расположенной при впадении Ижины в Мологу (устье + Ижина = Устюжна) – жили гвоздари, котельники, сковородочники, замочники, угольники. Шпагу, украденную Омельяном, можно было продать кому-нибудь из них, тем более что ходили из Даниловского в Устюжну одним днём. Дальнейшая судьба Омельяна могла бы многое сказать о характере Льва Андреевича. За “предерзостный поступок” барин имел право наказать его плетьми или розгами, и даже сослать в Сибирь. Подобная возможность появилась у поместных дворян еще при Елизавете. Принимая ссыльных за Урал, государство получало дармовую рабочую силу, а помещику взамен давалась рекрутская квитанция, по которой годный к службе крепостной освобож-дался от воинской повинности. Решение о степени вины и наказания принимал помещик. Рекрутская квитанция давала ему возможность освободить от армии хорошего работника, то есть сослать в обмен на белый билет увечных, нетрудоспособных – и ни в чём не виновных – людей.

Помимо уставов военных и купеческих, и атласов, и лечебников, и Евангелий, в библиотеке Льва Андреевича хранились сочинения Марка Аврелия, Квинта Курция, басни Эзопа и “Сократово учение”, а также “Жиль Блас” Лесажа и оды Ломоносова. Список, хоть и небольшой и пёстрый, но для вологодской глухомани, видимо, выдающийся. В то время чтение и вообще было главным источником самых общих знаний о мире и человеке, особенно в провинции. Какие книги окружали поместного дворянина в усадьбе, таким он и вырастал. Будущий адмирал и академик-архаист, Александр Шишков воспитывался на книгах церковных, вследствие чего рассматривал судьбу русской литературы сквозь призму старо-славянского языка и даже создал лингвистическую теорию – любопытную, но ошибочную.

Были среди вещиц и диковинные, например, турецкий казан. Прадед поэта захватил его в Очаковском сражении 1737 года. Казан служил янычарам и общим котлом, и чем-то вроде военно-полевого талисмана. Потерять его означало потерять воинскую честь. А теперь даниловские девки нагревали в “талисмане” воду в бане для мытья и стирки. Некоторые из предметов разобрали, отселяясь от отца, сёстры Варвара и Александра, когда тот повторно женился. Что-то ушло в приданое старшей Анне, венчанной здесь же, в Даниловском, с помещиком Абрамом Гревенсом. А часть вещей составила обстановку Даниловского уже в новое время – например, небольшой лакированный ящик, прозванный дво-

ровыми “гробиком”. В нём лежала “чёрная нога”, которая, считали они, стучит по ночам на лестнице. В сражении с наполеоновской армией под Кульмом тестю Помпея – Николаю Кривцову – оторвало ногу, и остаток жизни он, действительно, проходил на чёрном голландском протезе. Его дочь Софья, выйдя замуж за Помпея, после смерти отца не пожелала расстаться с протезом, так “нога” оказалась в Даниловском. Возможно, в сознании Помпея она как-то увязывалась со старшим братом Константином – поэт Батюшков участвовал в той же военной кампании, что и Кривцов, хотя не был ранен.

Для маленького Помпея война была законченным прошлым. И батюшковские костыли, и протез тестя, хранившийся за шкафом, давно стали частью легенды. На костылях брат Константин вернётся в Даниловское из первого военного похода. Боевую отметину он получит на несколько лет раньше Помпеева тестя: в сражении под Гейльсбергом (1807), когда Наполеон громил коалицию. От ранения Батюшков оправится, но ревматические боли не будут давать ему покоя весь остаток жизни. В больном рассудке он разговаривает с ногой и даже пишет ей стихи.

Чтение книг создавало в уме образы, мало совместимые с миром провинциальной усадьбы. Взгляд, поднятый от страницы “Метаморфоз” Овидия, блуждал по заснеженному полю и упирался в лес. Вот села на ветку галка, и столбик снега

упал на сугроб. Со двора понесли рогожи. Мелодия чужого языка переплеталась с пением крепостных девушек. Перечитывая батюшковские “Опыты в стихах и прозе”, Пушкин отметит “слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни”[2]. Но таков был путь русской поэзии – к реальной, а не условной картине жизни, намеченный ещё Карамзиным и Державиным, продолженный Батюшковым, но до конца пройденный лишь самим Александром Сергеевичем.

Могилы Батюшковых-предков находились в “преддверии” Спасской церкви. Она стояла в дальнем конце парка – там, где рельеф идёт на подъём и резко обрывается к дороге. И прадед, и дед, и отец, и мать Помпея упокоились здесь. Двадцать лет назад Помпей планировал перенести сюда из Вологды прах старшего брата и даже добился разрешения на перезахоронение. Это было бы данью дворянской традиции, чтобы сыновья лежали рядом с отцами. Но всполошилась сводная сестра Варвара. Она была против, чтобы останки брата переместились в Даниловское, и даже написала письмо министру внутренних дел П.А. Валуеву. Во-первых, она была оскорблена тем, что Помпей не поставил её в известность. Во-вторых, сам поэт завещал похоронить его в Спасо-Прилуцком монастыре Вологды; в-третьих, в своё время Помпей

---

[2] Здесь и далее цит. по: *Пушкин А*. Полное собрание сочинений: В 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

не принял участия в обустройстве могилы брата, и не имел, по мнению Варвары Николаевны, морального права распоряжаться останками. В-четвёртых, Даниловское в её сознании было прочно связано с новой семьёй отца; она не хотела возвращаться туда, пусть даже на могилы. В Рукописном отделе Российской национальной библиотеки хранится черновик письма, которое по просьбе Помпея написала Варваре его жена Софья (сам он по-чиновничьи устранился). По тону этого “оправдательного письма” видно, насколько холодны стали их отношения. История с перезахоронением расстроила их. Помпей и сейчас, двадцать лет спустя, чувствовал себя уязвлённым. Трёхтомник брата, который он задумал, мог бы снова возвысить Его Высокопревосходительство. Он не мог предположить, что и могилы, и храм через каких-нибудь полвека уничтожат, а строчка поэта Батюшкова (“Минутны странники, мы ходим по гробам”) превратится из метафоры в жуткую советскую реальность.

Отцы и дети

Константину Батюшкову было шесть лет, когда у его матери обнаружились признаки помешательства. Отец отвезёт жену из Вятки, где они тогда жили, в Петербург. Но лечение не поможет и в 1795-м Александра Григорьевна скончается. С четырьмя дочерями и сыном на руках, с огромными долгами за лечение – Николай Львович останется в Петербурге один. Он проживёт здесь два года. Всё это время он будет вести борьбу с безденежьем. Чтобы покрыть проценты по долгам и оплатить пансион дочерям (Елизавете, Александре и Анне) – он просит в Государственном заёмном банке деньги под залог имений покойной жены. Банк с ответом затягивает. Николай Львович ждёт не только ответа из банка, но и повышения в чине. Он хочет служить в столице, и новый чин увеличивает шансы на хорошую должность. Но Екатерина II не подписывает указ. Батюшков остаётся надворным советником, его явно обходят. Смерть императрицы (1796) даёт новую надежду, но хватит ли денег ждать, и сколько? Неизвестно. Девятилетний Батюшков мог хорошо помнить отца в то время – в Петербурге они жили под одной крышей. Ему сорок пять, вдовец. Детям нужна учёба, а время и деньги утекают в песок. Николай Львович живёт в страхе, что надежды не оправдаются. В его возрасте подобное “искание” унизительно и действует изматывающе. Вся надежда только

на нового императора. Многим кажется, что с воцарением Павла судьба страны и людей переменится.

Николай Львович просит императора о помощи малолетним Константину и Варваре, ибо “не в состоянии воспитать пристойным образом” детей из-за “бедственного положения”. Но ответа нет, деньги за обучение надо изыскивать самостоятельно. Генерал-прокурор А. Н. Самойлов обещает место советника в одном из столичных банков, но назначения тоже нет. Долги растут. Издержки столичной жизни не покрываются доходами от имений. Старик-Батюшков пишет из Даниловского увещевательные письма с требованием немедленного приезда сына в деревню “с большими тремя дочерьми”. Но Николай Львович всё не едет. Только в 1797 году он получит, наконец, коллежского советника – чин, который обычно выслуживали к тридцати годам. Но хотя и обращаются теперь к нему “ваше высокоблагородие” – в судьбе его ничего не меняется. Получив чин, но так и не получив должности, Николай Львович решает поставить точку. Он отдаёт Константина и Варвару в пансионы и уезжает к отцу в деревню.

Теперь только письма связывают его с детьми и внешним миром.

Если верно, что человек исповедует то, о чём мечтал, в чём испытывал недостаток, то “семейная” философия Ба-

тюшкова (о пользе родительского тепла и домашнего воспитания) – кричит о том, что ни того, ни другого поэт не получил в должной мере. То, что отец это чувствовал, слышно в письмах. Стиль их неровный и дёрганый. Николай Львович пытается следовать дворянским традициям и выдерживает суровый тон. С другой стороны, он понимает, что не вправе так разговаривать с сыном, для которого не сделал всего, что мог бы. Через эпистолярные штампы времени мы слышим голос человека, который измучен собственной виной и тем, что не в состоянии ничего исправить.

Но постепенно тон меняется. После возвращения Батюшкова из первого военного похода Николай Львович всё чаще говорит с сыном как с другом и единомышленником. Страстью, сблизившей отца и сына, станет литература. Оба они – читатели. В разные годы в разных письмах, которых дошло до нас, увы, очень мало – речь почти всегда заходит о книгах, нужду в которых Николай Львович испытывает в деревне. Он любит подкреплять мысли цитатами. “Всё минется, мой друг, – пишет он, – и минется скоро. Надобно уметь сносить с терпением возлагаемое Святым провидением. Оно тяжко и несносно чувствительным сердцам. Но что же делать, надобно почаще читать сии Гомеровы стихи:

Мы листвиям древес подобны бытием.
Одни из них падут от ветра сотрясенны,
Другие вместо их явятся возрожденны,
Когда весна живит подсолнечну собой.

Так мы: один умрет, рождается другой”[3].

По “чувствительным сердцам” видно, что Николай Львович был читателем не одной только античной литературы. Узнав об успехах сына, он не скрывает волнения: “Читал, мой друг, твои «Воспоминания», – пишет он, – читал и плакал от радости и восхищения, что имею такого сына”.

В том, что его обошли по службе, Николай Львович слышал эхо давней семейной истории. Чтобы оплатить долги, сделанные в Петербурге, он продаёт отцовский дом в бежецком селе Тухани. Свои жизненные неудачи он связывает с мрачной историей, которая произошла здесь. Дело было в самом начале правления Екатерины Великой. Известно, что большая часть провинциального дворянства не имело выгод от переворота и считало Екатерину самозванкой. То, насколько императрица была щепетильной в подобных вопросах, тоже известно. Со слов графа Румянцева Екатерина “с вниманием относилась к оппозиционным настроениям даже среди нескольких пожилых дам”. В другом анекдоте, который Пушкин приводит в “Table-talk”, речь идёт об угрозах расправы над князем Хованским, который “язвительно поносил Екатерину”. Если тот не остановится, увещевает Ека-

---

[3] Здесь и далее письма Н.Л. Батюшкова цит. по: Письма Н.Л. Батюшкова к К.Н. Батюшкову (публикация Р.М. Лазарчук) // Батюшков. Исследования и материалы. Сборник научных трудов. Череповец, 2002.

терина, то “доведёт себя до такого края, где и ворон костей не сыщет”. Тогда, в 1766 году, князь отделался внушением. Но уже через три года императрица показала, на что действительно способна. Её жестокая подозрительность в полной мере отпечаталась на судьбе Ильи Андреевича Батюшкова – родного дяди Николая Львовича. Илья Андреевич (брат Льва Андреевича) как раз и жил в имении Тухани. Он был, по-видимому, человеком с богатым и подвижным воображением. В провинциальной глуши, отягчённая пьянством – фантазия его часто принимала странные и даже болезненные формы. В один из таких моментов он решил, что сосед его и собутыльник Ипполит Опочинин – не обычный помещик, а сын покойной императрицы Елизаветы и английского короля Георга, то есть законный наследник российского престола.

Илья Андреевич не только поверил в свою опасную фантазию, но убедил несчастного соседа. Тот случайно проговорился; “заговор” раскрыли по доносу; в Устюжну выдвинулась государственная комиссия во главе с обер-прокурором Сената Всеволжским. Илью Андреевича допрашивали и даже пытали. Но ничего вразумительного, само собой, не добились. Было ясно, что “заговор” – плод белогорячечной фантазии провинциального помещика. Однако и обратный ход делу о “государственном перевороте” дать было невозможно, и вскоре “левиафан” поглотил бедного Илью Андреевича. Племянника-подростка, будущего отца поэта, на бе-

ду гостившего тогда у дяди, запугали, чтобы он ни рассказывать, ни думать не смел об услышанном. С тех пор, считал Николай Львович, их фамилия оставалась у Екатерины на плохом счету. Даже спустя годы она всё ещё помнила *то* дело – и вычёркивала Батюшковых из списков. Что касается Ильи, то его помиловали только при Павле, однако посланные в Сибирь вернулись ни с чем: Илья Андреевич в Сибири обнаружен не был.

И вот эти Тухани ушли за 15 тысяч. Николай Львович словно избавился от кошмара, который его столько лет преследовал.

Подобно своему двоюродному деду, поэт Батюшков тоже поверит в то, на чём будет настаивать его альтер эго. Обычные, в общем-то, жизненные неудачи другой, "чёрный человек", увидит в духе экзистенциальной отверженности – Батюшкова поэта и человека. "Светлый" Батюшков ещё пытается переломить "злой рок". От невозможности выстроить жизнь так, как ему хочется, а не так, как она складывается, он погрузится в депрессии, сменяемые манией преследования. Постепенно "чёрный человек" изменит не только жизнелюбивый, лёгкий характер поэта, но и его судьбу. Вызванная к жизни болезненным воображением, идея социальной отверженности и поэтического бессилия разбудит дремавший в Батюшкове недуг. "Чёрный" человек не только определит бытие поэта, но со временем под-

чинит его полностью.

Должность, в которой находился отец Батюшкова до болезни жены и финансового краха, была прокурорской. Он вёл дела в Городском магистрате. Судя по списку, Николай Львович служил успешно и даже имел награды. Но любви к тому, чем занимался, не испытывал (“Коль несносно читать, а иногда и подписывать: высечь его кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу – а за что и почто, Бог ведает”). Нелюбимую должность он занимал все 1780-е годы – то в Великом Устюге, то в Ярославле, то в Вятке. Одних недоимок с его помощью вернулось в казну на десятки тысяч.

Честный чиновник и порядочный человек, да ещё в провинции, да ещё на такой “взяточной” должности, как прокурорская, – не мог не быть белой вороной. Возможно, его и переводили с места на место, лишь бы избавиться. А он просил об одном: служить в Вологде, поближе к своим имениям. Но пути чиновничьих решений неисповедимы, и Николай Львович годами кочевал по городам севера в надежде получить обещанное. Пока, наконец, в родной Вологде не освободилось место. Там-то в 1787 году и родился его первенец – Константин Батюшков.

За шесть лет до рождения сына мы находим Николая Львовича в Великом Устюге. Год 1781-й. Должность прокурора губернского магистрата. Первое после выхода из воен-

ной службы гражданское назначение. Он уже женат на Александре Григорьевне, урождённой Бердяевой – небедной владелице вологодских и ярославских именьиц. Маленькой Ане годик, Елизавета родится через год. Там же в Великом Устюге появится и названная в честь матери Александра (1783).

Три сестры: прелюдия к появлению первенца.

Если Вологда считалась центром северных земель, то Устюг – глухим углом. До губернской Вологды отсюда было почти 500 километров. Когда-то богатейший город в устье Юга (Устье + Юг = Устюг) – на пересечении торговых путей Европы и Азии – после выхода России на Балтику он почти полностью утратил торговое значение. Многочисленные монастыри и храмы, выстроенные и изукрашенные богатыми купцами прошлых веков, сегодня напоминают о славной истории города, но уже тогда подчёркивали обочину, на которой он оказался.

От Батюшковых в Устюге останутся записи в храмовых исповедных ведомостях и несколько строк из писем, из которых следовало, что семейство Николая Львовича пережило в Устюге “великий пожар” и эпидемию простудной лихорадки. Катание по воде (а в Устюге живописно сходятся Сухона и Юг) и крестные ходы были едва ли не единственными развлечениями семейства.

В Устюг Николай Львович отправлялся с условием прослужить без перевода не менее пяти лет. Но уже через три с половиной года коллежского асессора Батюшкова неожи-

данно назначают в Ярославль. Единственным обнаруженным следом, оставленным Николаем Львовичем в этом городе, будет его имя в “Списке благотворителей Ярославского дома призрения ближнего”. Уже через год (1786) он прибудет в Вологду. К этому времени Александра Григорьевна носит первенца на четвёртом месяце. Первым установленным адресом поэта в городе станет церковь великомученицы Екатерины во Фроловке, прихожанами которой были его родители. Константина крестили именно в этом храме[4].

Исследователи жизни Батюшкова много писали о тепличных условиях детства будущего поэта. Считалось, что пока Николай Львович менял места службы и жительства – мальчик находился в родных пенатах под присмотром деда. Стихи, написанные поэтом, как будто подтверждают это идиллическое предположение. Однако повторимся: если человек исповедует то, в чём испытывал недостаток, то вся воспитательная философия Батюшкова (о пользе первых впечатлений родного крова и сердечного тепла близких) – свидетельствует о том, что ничего подобного у поэта не было. Образы отчего дома в стихах были условными и замещали его отсут-

---

[4] В 1930-х годах храм был закрыт, но простоял вплоть до начала 1950-х, кода была произведена частичная разборка церкви, признанной не имеющей исторической, художественной и архитектурной ценности. В 1960-х годах в помещении располагался клуб и спортзал КГБ-МВД. Окончательно храм разобран в середине 1960-х. Сегодня на его месте – проезжая часть улицы Предтеченской и стоянка автомобилей перед бассейном “Динамо”.

ствие в реальности. В Вологде, где он родился, маленький Батюшков проведёт только раннее детство. В Даниловском он будет бывать и того меньше, и вряд ли это время отложится в его памяти.

Вряд ли он вспомнит и Вятку, куда перевели по службе Николая Львовича. Существует предположение, что отец поэта попросился в Вятку сам – чтобы новой обстановкой смягчить болезнь жены, чьи признаки уже всерьёз проявили себя. А заодно удалить её от детей. Но в исповедных списках Вятки Николай Львович числится вместе с младшими детьми Варварой и Константином, а это значит, что болезнь матери развивалась на глазах у маленького мальчика.

В Вятке Николай Львович становится кавалером ордена Святого Владимира 4-й степени за “соблюдение казенного интереса при подрядах и откупах”. Он подумывает осесть здесь надолго и даже просится в отпуск, чтобы забрать из петербуржского пансиона старших дочерей. Однако в отпуск он отправится по другой причине – в Вятке состояние Александры Григорьевны ухудшится. Вместе с младшими детьми и больной женой Николай Львович едет в далёкий Петербург в надежде поправить её здоровье. Если правда, что любовь проявляет себя в поступках, то последующий год жизни Николая Львовича будет этому подтверждением – за излечение Александры Григорьевны он будет сражаться до последнего времени. Но чуда не произойдёт, медицина и в столице окажется бессильной. В 1795 году Александру Григорьевну

похоронят на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Могилу её и сегодня можно увидеть среди надгробий некрополя XVIII века.

В пансионах, в которых с 1797 года будет жить осиротевший Константин Батюшков, он проведёт несколько лет. Выйдя, он останется служить в Петербурге и будет жить у родственников, пока не сбежит на войну, и раненый вернётся в Даниловское только в 1808 году – и только затем, чтобы вскоре уехать, ведь его отец женился и старшим детям нет места в одном доме с мачехой.

Он почти не помнил мать, а отца больше знал по письмам, которые получал в пансионе. За свою взрослую жизнь он так и не обзавёлся собственным домом; его родным городом станет Петербург, чьи ампирные панорамы формировались буквально на глазах поэта, а заёмными “пенатами” – усадьба сестёр в Хантанове. Пансионы Жакино и Триполи, дом Муравьёевых, родной, но всё же не семейный, не собственный, имение, где хозяйничали сёстры, трактиры и жилища друзей в столицах, и квартиры на службе в Риме и Неаполе, и военные палатки в походах, и существование на руках у племянника в состоянии помрачённого рассудка – Батюшков никогда не жил своим домом и очагом. Всё в его жизни будет как будто временным, чужим, случайным; везде он проездом, везде “заброшен в мире”, везде в поисках дома. Поиск рано сделает его мудрецом, ибо философия, сказал Новалис, есть ностальгия по дому. Тянувшийся к семей-

ным и домовитым (Муравьёвы, Оленины, Карамзины, Вяземские), он лучше почувствует таких же, как он – бездомных и рано осиротевших мудрецов (Пнин, Радищев-младший, Гнедич) – словно подтверждая слова вольтерова Задига: “…двое несчастных – как два слабых деревца, которые, опираясь друг на друга, противостоят буре”.

После смерти жены Николай Львович ещё два года проживёт в Петербурге. В Комиссию для составления законов Российской империи он поступит сочинителем “сверх комплекта”. Должность без жалования, она бралась единственно для начисления стажа в ожидании нужной вакансии. Но вакансии в Петербурге всё не было, обещания сановников оказались напрасными. К тому же Николая Львовича неожиданно вызвали в Вятку – открылись служебные преступления и требовалось его свидетельство. С воцарением Павла страна ждала перемен к лучшему, а Николая Львовича преследовали призраки прошлого. В чине коллежского советника, пожалованного, наконец, Павлом, этот вдовый, отчаявшийся и почти разорённый человек, чудом отбоярившийся от поездки в Вятку, удаляется к отцу в Даниловское. В отставку он выйдет только в 1815 году. Почти двадцать лет он проведёт в ожидании, что понадобится царю и отечеству.

Матери, сёстры, жёны

В 1780 году в итальянском Ливорно под Пизой погиб родной дядя Батюшкова. 18-летний Коленька, морской офицер Бердяев, был родным братом матери будущего поэта. Пинка, на которой он плавал, потерпела в Ливорно кораблекрушение. Батюшков, хоть и родился семь лет спустя, не мог не знать об этой трагической истории. Мысли о внезапности смерти, осознание которой (внезапности) моментально превращает жизнь в бессмыслицу – о времени, с одинаковым безразличием порождающем и уничтожающем и великое, и малое, – будут постоянно преследовать Батюшкова, и особенно в Италии, где "работа" времени явлена с пугающей наглядностью. По странному совпадению буквально через год после приезда Константина Николаевича на службу в Неаполь – здесь, в Ливорно, в том же заливе и так же внезапно, в расцвете лет, погибнет (утонет) в 1822 году поэт Перси Шелли. Лодка, на которой он отправится в последний путь, называлась "Дон Жуан". Подобно Батюшкову боготворивший поэзию Торквато Тассо и золотой век Античности, Шелли – всего на пять лет младше Константина Николаевича, однако о существовании друг друга лучшие поэты своего времени не догадываются, хотя и в Лондоне, и в Риме будут ходить бок о бок по одним и тем же улицам[5].

---

[5] "Поздний" Батюшков познакомится с творчеством Байрона, старшего прия-

В семье Бердяевых Николай был единственным сыном. С его гибелью одна из ветвей рода пресекалась. Старшая сестра Саша, Александра Григорьевна, выйдет за Николая Львовича Батюшкова и утратит родовую фамилию. Когда в Вологодскую губернию придёт ужасная весть из Ливорно, Саша будет второй год замужем.

Как знакомились и женились в среде поместного дворянства – хорошо видно на примере Александры Григорьевны. Григорий Бердяев, отец её, служил при Елизавете в лейб-компании. В Преображенском полку это была особая гренадёрская рота, учреждённая Елизаветой сразу после переворота 1741 года. Рота занималась личной безопасностью императрицы (от нем. Leib – “тело”) и её близких. Лейб-компанцы набирались из тех, кто принимал в перевороте прямое участие. Дед поэта Лев Андреевич Батюшков, автор знакомой нам описи в Даниловском, служил в лейб-компании примерно в то же время, что и Григорий Бердяев, дед поэта по материнской линии.

Прослойка дворянства в населении России была ничтожной (1 % населения), и многие, особенно в отдельной или соседних губерниях, были друг другу если не дальние родственники, то знакомые знакомых точно. Дело оставалось

теля Шелли (в честь его “Дон Жуана” была названа лодка) – и вольно переведёт строфу из его “Паломничества Чайльд Гарольда”, а позже напишет лорду письмо в Лондон, правда, неотправленное и уже будучи в состоянии изменённого разума.

за малым, за случаем. Такой случай представился. Из лейб-компании Григорий Бердяев вышел в комиссионеры по рекрутским наборам и уличил воеводу во взятках. Правительствующий Сенат направил в Вологду комиссию для расследования. Её возглавил тверской вице-губернатор Никита Муравьёв, свояк Льва Андреевича Батюшкова (они были женаты на сёстрах). Сыну Льва Андреевича – Николаю – на тот момент было двадцать восемь лет. Дочери Григория Бердяева – Саше – двадцать шесть. Хлопотами Никиты, который по службе общался и с тем, и с тем семейством, молодых людей решили познакомить, тем более что у отцов было общее прошлое, да и жили они по соседству.

Точных сведений, где прошло детство Саши Бердяевой, нет. Можно предположить, что в Петербурге – по месту службы отца. Об образовании девушки ничего не известно тоже. Судя по тому, что дочери её будут учиться в пансионах, можно предположить, что собственный опыт подталкивал Александру Григорьевну к подобному решению. Так или иначе, Батюшковы-старшие желали видеть детей образованными. Сами они хорошо распробовали вкус столичной жизни и только под давлением обстоятельств лишились её; болезненное притяжение-отталкивание к столицам унаследует и поэт Батюшков.

Какими талантами обладала Саша, мы можем судить лишь по одной строчке: “Александра Григорьевна подарила сестрице шляпку, которую сама убирала…” Записано Михаилом

Никитичем Муравьёвым, сыном того самого тверского вице-губернатора; в гости к нему в Петербург по-родственному наезжали молодожёны. Впоследствии талант рукоделия перейдёт её дочери Елизавете – букет, вышитый шёлком, поразит великую княгиню Александру Павловну.

Ещё одно свидетельство о характере матери поэта мы находим совсем в другой области. Странным образом этот помещичий эпизод рифмуется с батюшковским Омельяном, которого неизвестно как осудил за кражу Лев Андреевич. Зато известно, как поступила Александра Григорьевна. Вот распоряжение о судьбе её беглого дворового: "…наказать плетьми, – пишет она, – а по наказании отослать, ежели он окажется годен, в военную службу с зачётом мне в предбудущий рекрутский набор. В случае воинской службе негодности сослать на поселение с зачётом мне за рекрута, а обратно я его к себе взять не желаю".

Спустя годы мягкий, миролюбивый Батюшков неожиданно проявит наследственную суровость по отношению уже к своим дворовым – правда, неисправимым пьяницам и лодырям.

Душевная болезнь, от которой умерла Александра Григорьевна, передавалась по наследству. Перепады внутренних состояний от полной апатии до бешеной ярости считались первыми её симптомами. Возможно, в одном из таких состояний жестокое распоряжение и было подписано. Болезнь,

которую тогда называли “чёрной меланхолией”, “ипохондрией”, “душевной болезнью”, сегодня скорее всего отнесли бы к острой форме шизофрении. Как её симптомы проявлялись у поэта Батюшкова, известно: гнев, мания преследования, попытки суицида, истовая набожность и полное безразличие к жизни и людям – часто сменяли друг друга. Наверное, схожим образом развивалась и болезнь матери поэта, и было к лучшему, что старшие дочери, находясь в пансионе, не видели её в таком состоянии. Зато видел Батюшков. Во всю жизнь он почти нигде не будет вспоминать о матери. И не потому, что забыл, а потому, наверное, что её образ хранился в душе за семью печатями. Так бывает именно с теми образами, в которых заключена травма (болезнь, смерть) – и любовь, которая тем горячей и беззаветней, что ты не успел разделить её.

Были ли в роду Бердяевых близкородственные браки – мы не знаем, хотя между поместными дворянами они, несмотря на запрет, случались. Родственные браки укрепляли род тем, что собирали и укрупняли его, а не рассеивали. Однако на генетическом уровне побочным эффектом таких браков были разного рода заболевания, включая психические. В таком случае связь между действительностью и больным подменялась связью больного с психозами, накопленными в подсознании; он как бы проецировал образы психозов на мир; интерпретировал реальность в их свете. Жизнь стано-

вилась зеркалом для внутреннего мира, а вся конструкция напоминала Уробороса – змея, который свернулся в кольцо и кусает себя за хвост. Смерть в подобных случаях наступала от общего нервного или иммунного истощения. Бессонница, отказ от еды, нервные срывы: в таком состоянии любая простуда могла стать фатальной. Скорее всего, именно так умерла мать поэта и её дочь, любимая сестра Батюшкова – Александра Николаевна. Самого Батюшкова от "быстрой смерти" спасло только богатое поэтическое воображение и обширная образная память, запасами которых безумие поэта "питалось" почти три десятилетия.

Тем не менее младшая сестра Батюшкова – Варвара Николаевна ("Варинька", "Варечька", "ангел", "ленивая девочка") – в 1818 году выйдет замуж за сына родного брата Варинькиной бабушки, за двоюродного дядю Аркадия Соколова. Он был старше её на тринадцать лет. Роман тянулся второй год, однако Соколов всё не сватался. Это изматывало и Варвару, и её близких. По письмам Батюшкова видно, что он, и без того во взвинченном состоянии, теряет терпение. Его оскорбляет двусмысленность положения сестры. Так негодовал бы отец. "Более года она томится по-пустому, – пишет он. – Ничего у нас не делается, а целому миру всё известно. Не навлекайте себе огорчений пустым деликатством. Дела делаются просто. Да или нет – вот и вся песня у благоразумных людей" [6].

---

[6] Здесь и далее письма поэта цит. по: *Батюшков К.* Сочинения. М.: Художе-

Когда свадьба, наконец, решилась, её отложили из-за смерти отца Николая Львовича. Только в 1818 году Варвара и Аркадий наконец поженятся. Они заживут своим домом сначала в Вологде, где Соколов служит директором училищ Вологодской губернии, а по выходе в отставку – в родовом Жукове. Мечта Вариньки (как и любой девушки того времени) – осуществится. Она станет женой и хозяйкой. Призрак мрачного старика в разорённом Даниловском перестанет её преследовать.

Проявилась ли в этом браке дурная наследственность? Неизвестно. Единственный сын Варвары Батюшковой и Аркадия Соколова – Николай – утонет, провалившись под лёд пошехонской речонки Согожи. Через пару месяцев Варвара потеряет сестру Елизавету (она умрёт от холеры). В имении Хантаново, где когда-то подолгу жил и сам Батюшков, она проведёт, когда овдовеет, оставшийся отрезок жизни. Из сестёр самая болезненная, слабая здоровьем, она доживёт до девяноста лет. На портрете вологодского художника Алексея Ягодникова[7] мы видим пожилую женщину в чепце. Взгляд её больших печальных глаз словно полон слёз. За больного брата Константина она молится иконе Божьей Матери “Взыскание погибших”. Этой иконе молятся о спасении души – того, чья душа померкла для обоих миров, небесного и земного.

ственная литература, 1989.

[7] Подробнее о художнике см.: *Даен М.* Он рисовал сестёр К.Н. Батюшкова… // Батюшков. Исследования и материалы. Черепповец, 2002.

“Лиза, Лизонька, Лизавета” – так называл её Батюшков – Елизавета Николаевна была по старшинству третьей. В пансионе мадам Эклебен из девиц Батюшковых она одна войдёт во вкус к французскому, что в перспективе означает – ко всей светской культуре того времени. Лиза – самая прилежная ученица, и мадам Эклебен даже представляет её великой княгине. Родители мечтают, чтобы Елизавета стала фрейлиной и жила в Петербурге. Однако её жизнь складывается иначе. Происходит то, чего она менее всего желает: из пансиона Лизу отправляют в Даниловское. Каково это, оказаться после Петербурга в пошехонской глухомани, да ещё со стариком-отцом – можно представить по роману “Война и мир”, где примерно в это же время в подобной глуши жили старик князь Болконский и его дочь княжна Марья. Для девицы её положения и воспитания только замужество давало шанс уехать если не в Петербург, то хотя бы в Вологду. Брак с чиновником Государственной коллегии иностранных дел Алексеем Шипиловым шанс давал, и прехороший: иностранная коллегия считалась элитным “ведомством”. В глазах обывателей его служащий заметно возвышался над чиновниками других коллегий.

Они поженились в 1802-м – в год, когда 15-летний Костя Батюшков уже вышел из пансиона. Как они познакомились? Предположительно в Вологде, другой светской жизни в округе попросту не было. Их могла сблизить любовь к

французскому – Шипилов по службе блестяще владел языком. Так или иначе, выбирать приходилось из небольшого круга, и вологодский дворянин Шипилов в этот круг входил.

В Вологде, в доме Шипиловых, кроме Шипиловых-младших живёт Шипилов-старший. Ускользнув от отца, Лизонька теперь вынуждена терпеть старика чужого, бессердечного и скупого. Только взаимная супружеская любовь спасает её. О Петербурге она не мечтает и довольствуется французскими книгами. Её письма к брату Константину тоже написаны по-французски. Этим она как бы выделяет себя из провинциального окружения. Зная её страсть, Батюшков просит сестру Сашу в августовском письме 1812 года: “Скажи Лизавете, что я видел недавно славную сочинительницу Коринны и Дельфины, мадам Сталь, с которой провёл целый вечер у графини Строгоновой”. “Дурна как чёрт и умна как ангел”, – добавит он фразу, впоследствии ставшую хрестоматийной. Жермена де Сталь, первая интеллектуалка своего времени, бежала от Наполеона и ненадолго оказалась в России. То, что Лиза интересовалась её сочинениями, многое говорит о ней. Из всех сестёр только она могла по-настоящему оценить новое знакомство брата.

Спустя тридцать лет упрямый Шипилов осуществит-таки мечту Лизы. Он оставит должность директора Вологодской гимназии (её “подхватит” муж сестры Варвары) ради должности директора 2-й Петербургской гимназии. Семья переедет. К тому времени (1830-е годы) Елизавета Николаевна

потеряет дочерей, умерших во младенчестве. Потери разовьют в “Лизоньке” постоянный страх за старшего сына. Когда писем от него долго нет, она не находит себе места. “Ты сама знаешь, как бывает с Лизой”, – мрачно сообщает Шипилов её сестре Александре. Но не зря говорят, чего боишься, то и происходит: сын Алёша, любимый племянник поэта, умрёт при неизвестных нам обстоятельствах. Ему будет двадцать пять лет. Из всех шипиловских детей только младший Лёня переживёт родителей.

Елизавета Николаевна умрёт в 1853 году в возрасте семидесяти одного года. Когда безумный Батюшков узнает, что сестры больше нет и что похоронили её в Духовом монастыре Вологды (а не в древних Прилуках) – он флегматично заметит, что ей “в Прилуках не с кем было бы говорить по-французски”.

Даже в помутнённом сознании поэта Лиза оставалась “француженкой”.

Аня оканчивала петербуржский пансион, когда умерла её мать Александра Григорьевна. Меньше всего ей хотелось возвращаться в Даниловское. Отец понимает это и делает всё, чтобы пристроить дочерей Елизавету и Анну в Петербурге. Он просит Павла принять их к Императорскому двору. Но царь не откликается на просьбу, и Анна вынуждена удалиться в родное Даниловское. Для неё это ссылка. Пока отец хлопочет о себе и младших детях в Петербурге, она жи-

вёт вместе с дедом. Из всех “добродетелей”, которые развивала в девочках мадам Эклебен, у Анны лучше других проявился талант рисовальщицы. Войдя в роль старшей сестры, она высылает маленькому Косте в пансион репродукцию картины “Диана и Эндимион”. Копирование картины развивает вкус к искусству живописи, считает она, и будет права: её младший брат станет не только поэтом, но одним из первых арт-критиков своего времени.

Мы не знаем обстоятельств Аниного брака с Абрамом Гревенсом. Думается, она использовала любую возможность, чтобы покинуть Даниловское. Дед хорошо понимал внучку: “Естли найду сватающегося человека стоющего и невесте непротивного, – писал он Николаю Львовичу в Петербург, – то тогда и благословение от меня дасца, и награда невесте”.

Абрам Гревенс был старше Анны на двадцать один год. Статский советник, лютеранин, по характеру из литературных персонажей он напоминает мужа Анны Карениной. У него было дурное свойство “удерживать деньги” – не отдавать долги, например, сёстрам жены, которым Гревенс (уже после смерти Анны) был должен 5000. Пара поженилась в 1802 году. Их сын Гриша будет первым и самым любимым племянником Батюшкова. Именно ему через много лет выпадет стать опекуном безумного дяди.

Жизнь старшей сестры поэта, “нежного и мужественного друга”, будет самой недолгой – в 1808 году в возрасте два-

дцати восьми лет Анна умрёт по неизвестной причине. Гриша вырастет без матери. Старшего Гревенса, оставшегося с детьми на руках, утешает в Петербурге Шипилов. Когда они расстанутся, Гревенс напишет ему неловкими, чиновничьими словами – однако сколько тоски прозвучит в этом его каренинском “не найдусь” (“По разлуке с Вами и, обыкша видеть Вас всегда с собою, я теперь один не найдусь”).

Анна была первой, самой старшей из единоутробных сестёр поэта, а Александра – третьей. Она не вышла замуж и не знала материнства. Её стареющий отец, брат и сёстры с детьми и мужьями, их семейные и финансовые отношения – стали *её* отношениями. *Они* были её семьей. *Им* она посвятила жизнь. Если кто-то и был невольным ангелом-хранителем семейства Батюшковых, то это была сестра Саша – словно имя матери, которое она носила, сделало её ответственной за всех в этом большом и пёстром семействе. Когда отец снова овдовел, когда снова остался один с малолетними детьми от второго брака – Помпеем и Юлией – и доживал век в разорённом Даниловском, Саша мчалась к нему по первому зову. Она хлопотала о свадьбе родной сестры Варвары и воспитании младшей сводной – Юлии. Тревога за близких изматывала Александру Николаевну. “Не можешь ли ты раздобыть для меня сонного порошку, – пишет она брату в апреле 1811-го, – я вовсе лишена этого дара небес”. И снова: “Шутки в сторону, не знаю, что и делать, дабы обрести сон”.

На излечение помешанного брата она направит всю нерас-

траченную материнскую энергию. Её подвиг глубоко и точно оценят друзья поэта. Она будет “единственной по нежности сердца и бескорыстию в привязанности к брату” (Жуковский).

Если правда, что безумие лишь дремлет в человеке, что оно, как скажет Батюшков, лишь “крокодил” на дне “колодца” души, и нужен только толчок, чтобы разбудить его – судьба Саши лучшее этому доказательство. Отчаявшись спасти брата, она сама погружается во мрак. “Крокодил” безумия тоже понемногу выбирается из её “колодца”. В болезненном рассудке Саша проживёт двенадцать лет и умрёт только в 1841 году. Поэту Батюшкову не станут говорить о гибели сестры. Ты раздала свою жизнь другим, но что ты получила взамен – мог бы спросить он сестру?

“Я не могу понять, что нас так привязывает к жизни… – обронит в письме Саша. – Кроме огорчения и болезни ничего нет”. Жестокий приговор, и выносит его девица двадцати пяти лет от роду. Но мы слышим голос не по годам трезвой, проницательной женщины. Оглядываясь на её жизнь, можно сказать, что именно она и была самой счастливой – если считать за счастье возможность раздать свою любовь близким. Когда она выполнила предназначение, то просто исчезла. Человек, живущий для других, не думает о воздаянии, могла бы она ответить брату.

Лучшее время

В частных письмах людей подцензурного времени почти не встретишь разговора о политике – как будто существует грань, через которую автор не разрешает переступить себе. Павловская, николаевская, советская, нынешняя – любая “цензурированная” эпоха живёт вне исторического контекста и его Большого времени. Создаётся впечатление, что человек такой эпохи состоит из одних сплетен, амуров, анекдотов, интриг по службе, хозяйства и сутяжничества, и семейного быта с его детскими болезнями и долгами.

Впечатление ложное, разумеется.

В последние годы правления Екатерины (а потом и в короткую эпоху Павла) цензура и доносы стали общегосударственной формой полицейского надзора за подданными. Жизнь была буквально пропитана соглядатайством. О том, что на границах досматриваются иностранные книги, а письма, идущие официальной почтой, перлюстрируются – знали все. Одна неловкая фраза или страница сочинения (как сегодня репост или лайк) могли стоить автору карьеры, а то и свободы. Расплывчатость требований (пресекать что-либо противное закону Божию, гражданственности и нравам) – а также отсутствие профессионального чиновничьего аппарата – развязывало доносчикам и цензорам руки. Что бывает, когда свободомыслие запрещается на государственном уров-

не, какой простор открывает подобный запрет для человеческой подлости – хорошо видно по тому, как поэт и цензор Туманский обошёлся с Карамзиным. Когда-то Карамзин отказался напечатать стихи Туманского в своём журнале, и тот, уже в должности цензора, в отместку запретил ввоз в Россию экземпляры немецкого издания “Писем русского путешественника”. Он не только “остановил” книгу, но представил начальству донос, указав на “опасные” в ней места, и только случай спас будущего историка от крупных неприятностей.

Политика обсуждалась устно или заносилась в дневники, но дневники тоже оказывались ненадёжными носителями. После 14 декабря Пушкин уничтожил многие записи, то же касалось писем и записок, шедших из рук в руки в обход почты[8].

Батюшкову было два года, когда пала Бастилия и наступили великие 1790-е. На его отрочество пришлись “турбулентные” годы правления Павла с эскападами во внутренней и внешней политике. Батюшков перешёл в пансион Триполи в год цареубийства. Французская революция, на фоне которой жила вся Европа, принципиально изменила представление европейского человека об истории, обществе и его собственной социальной природе. Батюшков был современником триумфа и падения Наполеона, и даже участвовал в его

---

[8] Известно, что в ночь после смерти Дельвига его близкие, опасаясь обыска, сожгли почти весь архив, лишив нас по-настоящему бесценного материала.

разгроме. Он пережил декабрь 1825-го, и хорошо, что был не в уме, ведь в ссылку ушли многие из тех, кого он знал и любил с детства.

Как поэт и человек Батюшков состоялся в историческом промежутке между эпохой Французской революции и восстанием декабристов, поставившим эпохе кровавую точку в далёкой России; между закатом классицизма и зарёй романтиков с войной 1812 года в точке исторической кульминации. В каком-то смысле это было везением, поскольку обретать собственное, внутреннее время, а значит и собственный голос, в промежутке проще – когда история делает скачок, инерция традиции ослабевает и поэту нужно самому искать, на что опереться.

Жизнь Батюшкова – поиск такой опоры. В свете подобного поиска можно было бы назвать его поэтом-экзистенциалистом, недаром именно Паскаль со временем всё больше привлекает его читательское внимание. Правда, по мере нарастания болезни связи с внешним миром одна за другой обрываются; он всё чаще пасует, прячется в себя от времени и вопросов, которые оно ставит. Ещё в молодости приговор Истории он высокомерно произносит с позиции вечности, и в этом высокомерии – его слабость, ведь именно История заставит его радикально поменять представления о себе и мире. Точкой опоры для него станет собственный опыт, горький, но свой, и отвечать перед своей жизнью и Временем он будет тоже – сам.

В 1797 году отец поэта отчаивается получить в Петербурге новый чин и должность. Из денег, полученных от заёмного банка, он внесёт за обучение сына в пансион француза Осипа Жакино 700 рублей на год – и удалится в Даниловское. А когда придёт время отдавать в пансион младшую Вариньку, Николай Львович переведёт сына в пансион подешевле: к итальянцу Ивану Антоновичу Триполи.

Трудно недооценить значение этого “перевода”.

Иван Антонович был географ и преподавал в Морском кадетском училище. Чтобы сколько-нибудь подработать к небольшому жалованью, он держал на дому частную школу, как делали многие преподаватели. Судя по эпиграмме, кадеты относились к наставнику с любовью, но без особого уважения (“Прекрючковатый нос, фитою ножки, / Морской мундир, гусарские сапожки”). Тем не менее вкус к итальянскому языку, а значит и к литературе – привьёт Батюшкову именно этот нелепый и смешной, не по моде одетый Иван Антонович.

Существует письмо Батюшкова из пансиона в Даниловское, в котором звучит хрестоматийная фраза “прохожу италиянскую грамматику и учу в оной глаголы”. Есть в письме упоминание и “большой картины”, которую Константин копирует по заданию старшей сестры Анны. Кисти какого художника принадлежала картина? Неизвестно, “Диану и Эндимиона” весьма часто изображали в европейской жи-

вописи. Однако сам античный сюжет исполнен глубокого “батюшковского” смысла. Влюблённая в Эндимиона, богиня Диана регулярно является юноше во сне. Однажды Эндимион просыпается. Он видит Диану, но считает её прекрасное видение сном. Чтобы увидеть богиню снова, он спит всё чаще и дольше, пока окончательно не перебирается за черту яви. Диана (Селена) была богиней луны, а Эндимион, таким образом, первым человеком-лунатиком; странно и страшно, что подобный сюжет рисовал в детстве первый лунатик русской поэзии Константин Батюшков.

Благодаря Анне из Батюшкова получился неплохой рисовальщик и, главное, разборчивый ценитель живописи. Мы в этом не раз ещё убедимся. На всю жизнь (и даже в безумии) он сохранит твёрдость руки и цепкость взгляда. Перед нами не альбомные завитки и виньетки, а портреты и жанровые сцены, довольно точно, хотя и “всырую” набросанные. Выпуклость, наглядность, художественность физического мира, которые схватывает глаз художника, найдут себя в поэзии. Батюшков станет одним из первых поэтов, чей визуальный ряд с его поблескивающими при лунном свете пиками или ночным дымящимся костром серьёзно потеснит абстрактную риторику классицизма и вычурные барочные метафоры. После Батюшкова только Пушкин сможет одной строкой оживить целую картину (“сальная свеча темно горела в медном шандале”).

Первым литературным опытом Константина был перевод на французский речи митрополита Платона. Речь была написана на восшествие Александра и прочитана Платоном во время московской коронации. “Отважится вокруг престола твоего пресмыкатися и ласкательство, и клевета, и пронырство со всем своим злым порождением, – писал митрополит, – откроет безобразную главу свою мздоимство и лицеприятие…” Однако с “помощью небесной подвиг твой будет удобен, бдение твое будет сладостно, попечение твое будет успешно…”

Речь императору понравилась. В числе переводов на другие языки она была опубликована. Если верно, что при переводе особенно усваивается склад авторской мысли, то Батюшкову повезло: митрополит Платон считался одним из самых просвещённых церковников. В том же письме Батюшков не без гордости сообщает о переводе отцу, и это едва ли не единственное свидетельство жизни поэта в пансионе. Мальчик просит деньги на прачку, почтовые расходы и крепостного слугу Фёдора. Он напоминает, что отец обещал подарить телескоп, который “можно продать и купить книги”. Для Батюшкова-подростка мир звёздного неба несравним с внутренним миром человека, который открывается в книгах.

Жизнь в пансионе приучала к самообслуживанию и чем-то напоминала армейскую; в военных походах этот опыт Батюшков, надо полагать, вспомнит. В отрыве от семьи,

жизнь в чужом городе, в замкнутом пространстве среди себе подобных, учит подростков жить своим умом и расчётом. В таких условиях они рано взрослеют. У Жакино и Триполи Батюшкова научат не только языкам и наукам, но и самостоятельно распоряжаться личной жизнью и средствами к ней; самому принимать решения и отвечать за них. Несмотря на сложившийся образ певца неги и счастливых мгновений, в жизни Батюшков будет человеком действия. Его бездомность, заброшенность в мире породит "охоту к перемене мест", которая будет формой поиска дома и сделает Батюшкову-поэту и судьбу, и легенду, но, увы, не сможет защитить от болезни. В конце концов его бесконечные разъезды превратятся из поиска точки опоры в попытку убежать от неизбежного помрачения.

Впрочем, первые годы в Петербурге – и в пансионе, и по выходе из него – не назовёшь временем одиночества и бесприютности. В судьбе юноши многие принимали участие. В семействе Михаила Никитича Муравьёва, сенатора, поэта, в прошлом литературного воспитателя великих князей – Батюшков живёт в Петербурге сразу после выхода из пансиона. Дядюшка и тётка, их дети – весь, как называли это семейство, "муравейник" – отныне и его семейство тоже, причём на долгие годы. Муравьёвы по-родственному опекают племянника, и этот образ поэта из провинции, которому покровительствуют влиятельные столичные родственники, позже окарикатурит Грибоедов в пьесе "Студент".

Именно к этому времени (1801), когда Муравьёв определяет Батюшкова в министерство просвещения – относится первый из известных портретов Константина Николаевича. Мы видим совсем ещё молодого человека, подростка. По выражению лица складывается ощущение, что юноше в ведомственном мундире неловко, как если бы мундир был велик, и он с осторожностью выглядывает из него, и за раму картины тоже. Батюшков похож на большую пугливую птицу. Первый портрет поэта и сегодня можно увидеть в литературном музее Пушкинского Дома.

Ранние годы в столице станут для Батюшкова временем поэтических знакомств и опытов. Они счастливо совпадут с короткой, но лучшей эпохой в истории тогдашней России. Константин Николаевич дебютирует в первые годы правления молодого императора. Политические проекты Александра многих поражают либеральностью. Как и Екатерина Великая, как и вообще русская власть, когда она хочет забыть дурное прошлое и начать с чистого листа – Александр поворачивается лицом к Европе. Воспитанный в идеях Просвещения, он мечтает, чтобы не только в России, но и на всём европейском континенте воцарились мир и спокойствие.

Первый опус Батюшкова (1802) будет называться “Мечта”. Вслед за Эпикуром и Горацием Константин Николаевич утверждает в нём, что “счастие певцов” есть “скромна сень, мир, вольность и спокойство”.

Александр мечтает утвердить для своей империи то же самое.

Ослабление цензурных запретов приводит к настоящей культурной оттепели. В столицах – бум на театре и в книгоиздании. Появляются многочисленные общества любителей литературы и художеств, разнообразные кружки и салоны, журналы и альманахи. Рассеянные или уничтоженные зубовским, а затем павловским деспотизмом, задавленные молчанием и самоцензурой – образованные, свободные, талантливейшие и умнейшие люди своего времени выйдут из тени и составят эпоху. Правда, как и всегда в России, самая лучшая, интересная, насыщенная эпоха окажется и самой короткой.

Многие из литераторов, которые окружают Батюшкова в первые годы века, связаны с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Общество возникнет на волне александровской оттепели – полулюбительское, амбициозное, дружеское, домашнее. “Мы преважно собирались, – вспоминает литератор Брусилов, – читали свои сочинения, составляли протоколы заседаний и, наконец, приступили к изданию журнала…” Разные по таланту, статусу, судьбе и возрасту, новые знакомые и коллеги Константина Николаевича разделяют идеи Просвещения. Они сходятся во взглядах на главенство естественных прав человека. Для многих кумиром является Александр Радищев (что для советского литературоведения будет предлогом считать Общество чуть

ли не “революционным”). Однако Общество отражает именно эклектичную пестроту и противоречивость литературных влияний начала века. В стихах Борна и Попугаева, Измайлова и Востокова откликается не только гневная радищевская муза, но и германская, и французская, и карамзинская, и ломоносовская, и даже муза русской “народности”. Между новаторами (Карамзин) и архаистами (Шишков) поэты Общества пытаются найти свой, независимый путь.

Новоиспечённое министерство просвещения, где служит Батюшков и его товарищи, возглавляет граф Завадовский. Бывший секретарь, а недолгое время и фаворит Екатерины – человек, по замечанию Адама Чарторыйского, “с добрым и справедливым сердцем, но немного топорный” – он займётся модернизацией школ, академий, библиотек, музеев, театров, журналов и даже типографий. То есть практически всей культурно-просветительской жизнью империи. А Михаил Муравьёв будет назначен его товарищем (заместителем). Тогда же на образовательной карте империи появятся три новых университета: петербургский, харьковский и казанский. Муравьёва переведут в попечители московского, к тому времени посещаемого лишь сотней казённокоштных слушателей. На новые должности Муравьёву и Завадовскому потребуются молодые образованные люди. Среди них предсказуемо окажется и племянник Михаила Никитича – Константин.

Батюшков займёт должность “без жалования” ради полу-

чения первого табельного чина. Уже через год перемарывания бумажек должность принесёт ему коллежского регистратора – “елистратишки”, как презрительно называли первый чин Табели в людях. От него требуется, “*чтобы он письма собирал и по пакетам раскладывал*”. Обращаются к Батюшкову “ваше благородие”. Государственная пенсия составляет 215 рублей в год. Однако эти “бонусы” смехотворны по сравнению с литературными знакомствами, которыми обзаведётся в Петербурге юный Константин Николаевич.

Среди новых знакомых Батюшкова много молодых людей из провинции – с трудной, часто драматической судьбой. Многие из них рано осиротевшие, как младший Радищев, или незаконнорождённые (Пнин, Востоков) – часто едва сводившие концы с концами – люди. Почти у каждого за спиной университетские или академические гимназии, или военные училища. Они прекрасно владеют иностранными языками и служат кто где – по комиссиям и министерствам, или преподают там, где учились. Чины у них самые незначительные. Что совершенно не умаляет их личности, ведь все они служат главному делу жизни – просвещению.

С первых шагов Батюшков словно в кольце интереснейших людей эпохи. Интеллектуалов старшего поколения, вельможных Львова, Державина, Оленина – он почтительно наблюдает в доме Муравьёва. А литераторы молодые и безвестные собираются на квартире у писателя и журналиста Брусилова. Николай Петрович ценит Карамзина, но в “Моём

путешествии” пародирует его “Письма”. Подобно будущему Джойсу, он иронично расскажет о своём путешествии, и это будет *один день* в замкнутом пространстве большого города. Подобно Вольтеру Брусилов считает, что “щастие есть химера”. Из недостатков, по мнению Жихарева, у него есть “недоверчивость к самому себе и подозрительность в отношении к другим”. На вечерах у Николая Петровича Батюшков частый гость. Возможно, ему по душе ироничность и “недоверчивый” склад ума Брусилова, ведь это в характере юноши тоже. В его салоне Батюшков пока только благодарный слушатель, хотя тот и симпатизирует юному дарованию, и публикует его поэтические опыты в своём “Журнале русской словесности”.

Печатаются в журнале не только начинающие авторы и члены Вольного общества, но даже Державин, который по собственному признанию “…не мог отговориться от некоторого петербургского журналиста и, собрав некоторую мелочь, по лоскутам у меня валяющуюся, отдал ему…” В соответствии с обличительным тоном журнала Батюшков предлагает Брусилову опыт в жанре “сатиры на общество”, предсказуемо “литературное”. В первом за 1805 год номере журнала сатира “К стихам моим” будет опубликована. В своей “пиесе” 17-летний поэт насмехается над зудом сочинительства старших коллег по цеху, которые угадываются за вымышленными именами. В основном здесь выставлены представители “архаистов” – последователей лингвистической теории Шишкова, и сам Шишков. Но есть и другие мише-

ни: сентиментальные эпигоны Карамзина. Правда, издёвка “снимается” тем, что автор и себя причисляет к несчастному роду людей, которые охвачены неконтролируемой страстью к стихотворчеству. Оказывается, подобная страсть – то, что способно объединить и карамзинистов, и последователей Шишкова. Она – над личностью, а сатира, таким образом, хотя и камуфлируется в “наезд” на представителей литературных крайностей, ставит вопрос не о принадлежности к лагерям, а об одержимости поэзией, которая сходна своей иррациональной природой с любовью и всех уравнивает.

Через некоторое время Константин Николаевич решает, что созрел для вступления в Общество. Он передаёт через Брусилова стихи для экзамена – “Сатира, подражание французскому” (Вольтеру, то есть). 22 апреля 1805 года Брусилов зачитывает сатиру в Обществе[9].

Иван Пнин. Экспедитор министерства просвещения, поэт Иван Петрович Пнин был старше Батюшкова на четырнадцать лет. В 1805 году, когда он ненадолго возглавит Вольное общество, Батюшков уже познакомился с ним на вечерах у Брусилова. Иван Петрович читает собравшимся стихи, полные просветительского пафоса, а также статьи в защиту гражданских прав человека – со всей страстью того, кого

[9] Символично, что Брусилов, стоявший у истоков литературной карьеры Батюшкова, окажется и в конце её. Когда безнадёжно больного поэта перевезут на постоянное жительство в Вологду, Николай Петрович будет занимать в городе должность губернатора.

этими правами обделили. Пнин был незаконнорождённый. Он был внебрачным сыном дипломата и генерала екатерининских времён Николая Репнина. В наследство от “палача Польши” он получил усечённую фамилию (так часто делалось: Бецкой – Трубецкой, например) – и курс обучения в инженерном корпусе. После чего был предоставлен на собственное усмотрение. Он жил в нищете, поскольку к военной карьере оказался неспособным, и зарабатывал на жизнь литературным трудом. Неизвестно, насколько близкими были отношения Батюшкова с Пниным. Однако на роль ментора фигура Ивана Петровича подходила идеально. Научить писать стихи невозможно, но привить возвышенное, исключительное отношение к поэзии и статусу поэта – можно и нужно. Пнин был как раз таким “донкихотом”.

Иван Петрович рассматривал литературу как форму служения истине. Истина заключалась в том, что Бог велик и непознаваем, а человек от рождения свободен и в свободе выбора между добром и злом равен другим людям. И ни один человек не вправе ущемлять эту свободу. Пнин был деист и убеждения выражал в полемике с классицистами Державиным и Ломоносовым. Даже оды свои он называл так же (“Человек”, “Бог”). Классицисты призывали принимать удары судьбы как проявление неведомой, хотя и благостной воли Божьей – а Пнин считал, что человеку на то и дана Богом свобода воли, чтобы жить так, как он живёт. “Все бедствия человека происходят от человека”, мог бы повторить Иван

Петрович вслед за кумиром своего поколения Радищевым. Возможно, не без влияния Пнина 17-летний Батюшков напишет своего “Бога”. Правда, через голову Ивана Петровича он отдаст дань даже не Державину – а сентиментальной чувствительности. Бог юного Батюшкова велик и непознаваем, но милостив. Он открывается тому, кто имеет отзывчивую душу и способен выйти из “мрачной хижины” лжемудрия, отринуть сухие философские истины ради природы, естественной, а значит, и божественной в любых проявлениях.

Сердечный, душевный отклик уже тогда станет для Батюшкова критерием истинности в искусстве.

Пнин славился неунывающим темпераментом и относился к числу людей, чей оптимизм только укрепляется жизненными невзгодами. Символично, что через полтора века Набоков даст герою одного из лучших своих американских романов фамилию Ивана Петровича. Идея Творца-Автора, который подглядывает из потустороннего мира за поступками людей-персонажей, была близка Набокову. Как и реальный Иван Пнин – герой Набокова одинок, беден и болезнен. Однако природное жизнелюбие и вера в то, что со смертью не всё заканчивается – помогают ему преодолевать жизнь. Даже о горькой доле Иван Петрович пишет ободряюще. У него есть строчки о человеке, который “В слезах родясь, в слезах кончает / Своих остаток горьких дней”, и это именно тот повтор (“в слезах… в слезах”), который через двадцать лет от-

кликнется в одном из последних и самом мрачном стихотворении Батюшкова (“Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет…”). Насколько, однако, разных людей мы слышим в этих стихах! Смерть как переход в инобытие (Пнин) или смерть – конец дурацкой сказке под названием жизнь (Батюшков).

О семейном положении Ивана Петровича сведений не сохранилось, известно лишь, что у него был сын Пётр, впоследствии художник, чья единственная дошедшая до нас картина (сценка “Игра в шашки”) находится в Русском музее. Иван Петрович умер в 1805-м, когда мальчику было два года – от чахотки “сентября 17 числа, между 10 и 11 часов пополудни”. “Он надеялся, что князь Репнин признает его своим сыном, но, узнав по кончине его, что тот забыл о нём в своём завещании, впал в уныние и зачах” – написал будущий издатель “Сына отечества” Николай Греч. “Неумолимая смерть махнула страшною косою – и в мире не стало одного доброго человека!” – горестно восклинет Брусилов. Возвышенными одами отзовутся на смерть “утешителья несчастных” и другие члены Вольного общества (Александр Измайлов, Николай Остолопов, Николай Радищев). Напишет на смерть Ивана Петровича и Батюшков, но оплачет не гражданина-просветителя и заступника всех униженных и оскорблённых, и не обойдённого в завещании бастарда (как это сделал Греч) – а Человека и его участь.

“Он был, как мы, лишь странник мира!”

<…>
И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
Объемлем только хладный прах.
Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец Граций, Муз, ты жив у нас в сердцах!

Когда в последний раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

Николай Радищев. Сын автора культового “Путешествия из Петербурга в Москву”, Николай Александрович Радищев служил в Комиссии по составлению законов. К двадцати двум годам он уже был автором книги “Богатырских повестей” – “песнотворений” об Алёше Поповиче и прочих фигурах русской сказки, изложенных не без влияния Ариосто и изданных попечением отца, поощрявшего талант сына. Возможно, Константин Николаевич нашел в Радищеве-младшем родственную душу – Николай, как и Батюшков, в детстве лишился матери, а отца не видел во всё время ссылки. Он вырос в семье дяди – остроумным и беззащитным юношей. В глазах просвещённых интеллектуалов его отец был легендарным диссидентом, и мальчик рос в тени этой леген-

ды. “Пожми руку у Радищева, – напишет Батюшков Гнедичу, – у него сердце на ладони; я его не переставал любить”. На глазах 15-летнего Батюшкова в судьбе Николая разыгрывается новая драма: в 1802 году Радищев-старший погибает от отравления. Это событие, случайное (перепутал стакан с кислотой) или преднамеренное (был оскорблён внушениями начальства) *самоубийство* писателя – в то время, когда власть, казалось, шла к переменам – заставляет по-разному реагировать общество. Иван Пнин и многие из его окружения пишут взволнованные стихи памяти великого атеиста и демократа. Карамзин находит в самоубийстве Радищева форму бессмысленной борьбы с властью и отчаянный самопиар (или просто не может смириться, что это радищевское “Путешествие”, а не его “Письма” снискало столько славы). Царь отправляет к умирающему своего лейб-медика, как будто указывая: пусть никто не подумает, что Радищева *довели* до гибели. О том, что случилось в реальности, мы вряд ли узнаем. Впрочем, в пользу одной из версий можно сказать, что Радищев был материалист и не исключал самоубийства как формы борьбы за последнюю свободу человека. Старше Батюшкова на восемь лет, сын Радищева Николай будет принят в Общество и какое-то время станет исполнять в нём обязанности цензора. Но его литературное наследие окажется в итоге не таким уж великим: несколько оригинальных вещей, несколько переводов – и биография отца, так и не опубликованная при жизни автора.

Иван Мартынов. Над министерскими чиновниками низших классов возвышался правитель дел департамента Мартынов. Ровесник Пнина, Иван Иванович был человек совсем другого склада. Он родился в семье священника на Полтавщине, рано осиротел, учился в тамошней семинарии, откуда за успехи в учёбе перевёлся в семинарию Александро-Невскую. Путешествие из Полтавы в Петербург он опишет в сентиментальном духе Стерна и Карамзина, но опубликует анонимно (“Филон”). Блестящее знание древних языков и литератур быстро выдвинет Ивана Ивановича из среды семинаристов. Он станет преподавателем. Когда Муравьёв приведёт Мартынова к министру просвещения Завадовскому, то просто сложит перед ним стопку мартыновских переводов античной поэтической классики, правда, выполненных прозой. По воспоминаниям, Иван Иванович говорил тонким, как бы дребезжащим голосом. Он честно признался министру, что плохо владеет французским и не знает канцелярского делопроизводства. “Государю и комитету известно, – ответил Муравьёв, – что такое вы знаете, и чего не знаете. Нам нужно то, что вы знаете; для того, чего не знаете, у вас будут помощники”. Так переводчик греческих классиков, издатель журналов, любитель Стерна и литературы путешествий – станет чиновником. В 1820-х годах Мартынов выпустит 26-томную антологию античных авторов в собственных переводах. В биографических записках он выступит теоре-

тиком перевода. Иван Иванович будет оправдываться, что только потому переводит стихи прозой, что для перевода великих стихов нужен великий поэт, и будет прав. На волне александровской оттепели он создаст и возглавит литературный журнал “Северный вестник”, на издание которого получит “грант” от монарших щедрот в 3000 на год – и это будет одно из самых серьёзных, глубоких общественно-политических изданией того времени. Показательно содержание номера “Вестника”, в котором выйдет ещё одно батюшковское стихотворение. Здесь и подробный критический разбор “Дельфины” Жермены де Сталь, и панегирическое исследование “Тавриды” Семёна Боброва, и заметки о путешествии по Ладоге, и очерк о разнообразии горного мрамора. Дух журнала возвышен, усмешка или оскорбительные намёки в нём редки. Либерализм Мартынова остаётся в рамках дозволенного. Начинающий поэт Батюшков напечатает в “Вестнике” “Элегию”, в которой будет философствовать о скоротечности счастья, обманчивости надежд – и любви, которая проходит в жизни, но никогда не уходит из сердца. “Элегия” будет вольным переводом из Эвариста Парни (“Que le bonheur arrive lentement!”) – поэта, которым, скорее всего, “заразил” Батюшкова Муравьёв, и сам адепт лёгкой (или “ускользающей”) поэзии. Если вспомнить, что элегия Парни является вольным переводом из другого батюшковского любимца, римского лирика Тибулла – мы видим, как в одном стихотворении Батюшков “присваивает” сразу двух дорогих

сердцу авторов. Мартынов опубликует “Элегию” в мартовской книжке журнала за 1805 год. Можно предположить, что Мандельштам, боготворивший Батюшкова, откликнется собственной “цикадой” (“Как кони медленно ступают, / Как мало в фонарях огня!”) – именно на первые строки этой элегии.

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастли#в – одну минуту,
Зато, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастьи сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила,
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забыть неверную… но нет!
Несносной правды вижу свет,

И должно мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

Александр Востоков. Урождённый остзейский дворянин из рода Остен-Сакенов, немец Александр Христофорович с юности будет жить в Петербурге. В начале литературного поприща он возьмёт псевдоним “Востоков” (Остен) – и составит на закате жизни заслуженную славу выдающегося русского филолога. Он переживёт почти всех коллег и единомышленников по Вольному обществу и умрёт (1864) почётным членом многих российских и зарубежных академий. Однако сейчас, в начале века – он, как и многие из кружка, вынужден занимать самые неприметные и малооплачиваемые должности. Сильное заикание лишает его возможности преподавать, а в светском обществе с таким дефектом и вообще делать нечего. Его сцена – кабинет, а декорации – книжные полки. Востоков постоянный и деятельный участник Вольного общества, его секретарь и строжайший цензор. В 1805 году, когда Батюшков через Брусилова подаёт “Сатиру” для экзамена, именно отзыв Востокова станет решающим. “Я рассматривал представленную Г-ном Батюшковым «Сатиру, подражание французскому», – напишет он, – не худое подражание, писанное с довольною лёгкостию: но для вступления молодому Автору в Общество,

надобно по моему мнению, чтоб он Обществу представил ещё что-нибудь из трудов своих, и притом если можно, своего собственного сочинения". Речь шла о том самом вольном переводе из Вольтера. Германофил Востоков не нашёл в ней ничего существенно нового – ни по форме, ни по содержанию. Таких переводов на то время делалось множество. Батюшкову отказали. Баллотироваться повторно уязвлённый поэт не решился, но обиду, как мы увидим впоследствии, затаил надолго. В том же 1805 году Востоков выпустит двухтомник стихотворений "Опыты лирические". Михаил Никитич Муравьёв преподнесёт её Александру I и тот одарит автора бриллиантовым перстнем. Про Востокова пишут, что он "…знает – в чём состоит тайна Поэзии, непроницаемая для самозванцев-поэтов". Действительно, Александр Христофорович одинаково свободно пишет и русским складом, и сложными греческими размерами. Чтобы подготовить читателя к античной строфе, он предваряет стихотворение схемой (– U – UU – U —, – UU – UU, например, в послании "К А.Г. Волкову"). Однако формальные эксперименты Востокова многим режут слух. Традиция, которую он пытается развивать, не находит продолжения. Постепенно интересы Александра Христофоровича перемещаются от первичных поэтических вдохновений к науке о языке. Его филологический ум совмещает античность и церковно-славянскую традицию. В 1812 году выходит его "Опыт о русском стихосложении", исследующий метрическую систему русского песен-

ного стиха. А через восемь лет – “Рассуждение о славянском языке”: об основах церковно-славянского. Одно из ранних, написанных до войны, стихотворений Батюшкова называется “К Филисе”. Оно, хотя и основано на “Обители” Грессе, хотя и условно, и воспевает философию дружбы вдали от шума городского – однако делает это “русско-народным” песенным размером. И это как раз тот размер, с которым (продолжая Карамзина и Радищева) экспериментировал и сам Александр Христофорович.

<…>
Сколько в час один бумаги я
Исписал к тебе, любезная!
Все затем, чтоб доказать тебе,
Что спокойствие есть счастие.
Совесть чистая – сокровище,
Вольность, вольность – дар святых небес.

Но уж солнце закатилося,
Мрак и тени сходят на землю.
Красный месяц с свода ясного
Тихо льет свой луч серебряный
Тихо льет, но черно облако
Помрачает светлый луч луны,
Как печальны вспоминания
Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя

Как люблю с тобой беседовать!
Как приятно мне в молчании
Вспоминать мечты прошедшие!
Мы надеждою живем, мой друг,
И мечтой одной питаемся.
Вы, богини моей юности,
Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,
Так теперь, мой друг, я думаю.
Я счастлив – моим спокойствием,
Я счастлив – твоею дружбою…

(1804/1805)

Михаил Муравьёв. Сын тверского вице-губернатора Никиты Муравьёва, стараниями которого будущие родители Батюшкова познакомились и поженились. Двоюродный дядя Батюшкова (отец Муравьёва и дед поэта были женаты на сёстрах Ижориных). Человек, мало сказать повлиявший – формировавший вкусы и взгляды Батюшкова. Без Михаила Никитича он вряд ли стал бы тем, кем стал. Мы ещё не раз убедимся в этом.

Адепт философии Просвещения, историк, поэт и переводчик, выбранный Екатериной в наставники внукам, Михаил Никитич принадлежал к старшему поколению литераторов. Он сочетал в себе царского чиновника и лирика, тре-

петного отца семейства и учёного мужа. Подобное противоречие словно “разгоняло” движение его поэтической мысли. Ещё в конце 1770-х Муравьёв одним из первых стал проповедовать “своенравные картины Шекспира” и даже сделал перевод монолога Гамлета, правда, с немецкого. Живший в нём “внутренний классицист” не одобрял шекспирова смешения “подлого и возвышенного”. Но другой Муравьёв, человек, предчувствующий новое время и новую чувствительность – справедливо ставил Шекспира над Расином: за “красноречие сердца неподражаемое, горящее истиною, поражающие обороты чувствований и удивительное богатство описаний”.

То, что в поэзии усвоит и воплотит Батюшков (чуткость к внутренним состояниям, легкость слога и чёткость мысли), Муравьёв только наметит. Он укажет направление: искать в себе – себя, описывать движения души, которые лучше всего раскрываются на лоне природы, среди друзей, в кругу семьи. Исполненные психологизма, поисков нравственной и эстетической гармонии – его стихи опережали “одическую” эпоху, окружавшую Михаила Никитича, и нашли должный читательский отклик только у литераторов следующих поколений: Карамзина, Жуковского, Батюшкова[10]. Чтобы выразить человека, нужно сочетать пластичность языка с внятностью мысли. Термин “лёгкая поэзия”, калькированный с француз-

---

[10] Подробнее об этом см.: Поэзия М.Н. Муравьёва. Вступ. ст. Л.И. Кулаковой // *Муравьёв М.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1967.

ского (“poe#sie fugitive”, скользящая), войдёт в русский литературный обиход именно через Михаила Никитича: муза его племянника будет буквально *скользить* от предмета к эмоции, а от эмоции к мысли. Образцом для языка новой поэзии Муравьёв призовёт считать дружескую беседу “по душам”. Когда душа открыта, то язык соответствует чувствам, а речь течёт легко и точно, считал он.

В эпических и драматических жанрах классицизма высокий и не всегда удобочитаемый слог компенсируется масштабным сюжетом и геройством страсти. Как в блокбастере, мы больше следим за эффектами, а не психологией или эстетикой. Наоборот, элегическая лирика обращена к внутреннему человеку и тонкостям его состояний. Здесь, как в артхаусе, требуются другие кисти и краски. Интерес к движениям души и сердца, выраженным через языковую палитру эмоциональных состояний, отсылает нас к “сентиментализму”. Карамзин, на десять лет Муравьёва младший, многое позаимствует из его практики. Но как поэт, пожалуй, не превзойдёт Михаила Никитича – по той простой причине, что в своих стихах Муравьёв остаётся философ, искатель нравственной основы человека. А Карамзин ищет язык, с помощью которого сможет “разговорить” обычного, среднего читателя на предмет обычных, человеческих эмоций. В отличие от Муравьёва, как бы “приподнимавшего” читателя над самим собой, Карамзин хочет спустить литературу из области “высоких материй” к повседневным ощущениям читателя, глав-

ный из которых – образованная светская женщина, обладавшая тем, что нужно для тонкого чувствования: вкусом к прекрасному и досугом, чтобы этот вкус развивать и воспитывать. То, какие “всходы” даст обращённая к женскому сердцу литература, мы прекрасно знаем по судьбам жён декабристов. Как справедливо заметил Ю.М. Лотман, подвиг, который они совершат, будет подвигом читательниц Муравьёва, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина.

Чиновник и государственный деятель, Муравьёв считал службу несовместимой с поэзией, поскольку настоящая поэзия требует всего человека – однако в рамках своей эпохи не мог разрешить данного противоречия. Когда по восшествии Павла его обходят чином, он решает жить, как завещал Руссо – семьёй, детьми, природой и творчеством, в чём открыто признаётся в письмах жене из Москвы; что, однако, не мешает ему при первой возможности забыть Руссо и искать протекции у всемогущественного графа Безбородко, и сполна получить её.

Ни Державину, ни тем более Ломоносову не пришло бы в голову служить одной только Музе. Люди классицизма, они считали поэзию частью служения государственным интересам. Считал так и Муравьёв – с той принципиальной разницей, что поэзия сперва формирует нравственность человека, а уж потом человек может по совести служить Отечеству.

Муравьёв пристроил Батюшкова сначала в министерство просвещения, а потом к себе в канцелярию по Московскому

университету – прекрасно сознавая, что должность “расставщика кавык и строчных препинаний” не сделает племяннику карьеры, зато оставит достаточно досуга, чтобы жить поэзией. Противоречие между творчеством и карьерой, личным счастьем и служением трону – столько терзавшее поэтов на излёте эпохи классицизма – первым в своём роде разрешит только Батюшков. По инерции времени он ещё будет искать должностей и протекций, но ни одна из вакансий не даст ему ни карьерного успеха, ни – главное – душевной гармонии. В 1815 году он с горечью скажет, что “носить на себе тяжёлое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истинно суетное”. Подобные искания мало совместимы с внутренней сосредоточенностью, или *праздностью*, без которой не напишешь и строчки – и жизнь Батюшкова полностью подтверждает это. Идеал, чаемый для Муравьёва (“Пиши, как живёшь, и живи, как пишешь”) – отчасти воплотится и в судьбе Константина Николаевича.

Муравьёв считал, что литература есть форма внутренней жизни, своеобразная гимнастика души на пути нравственного самосовершенствования человека. Он не стремился к публичности. “Скромность, даже излишняя, не позволяла ему быть в сношении с публикою”, – заметил Карамзин. “Человек добрый, кроткий, благородный, умный, но слабый и бесхарактерный, он писал по-русски хорошо, но сочинитель и творец был слабый”, – скажет о Муравьёве Греч. Человек

немецкого характера, Греч мог действительно считать, что Михаил Никитич занимался “ерундой”. Однако именно эта ерунда обеспечивала будущий взлёт русской лирической поэзии. Пример Пушкина, внимательно читавшего и цитировавшего Муравьёва, только подтверждает предположение.

Благодарность Батюшкова выразится в посмертном издании прозы Михаила Никитича. Для томика избранного (1815) он напишет обширное предисловие, которое станет введением в литературное и философское наследие Муравьёва. Подобно Карамзину он правит сочинения дядюшки, то есть сокращает отставание языка от мысли. Он будет заменять “толь многие” на “множество”, “позорище” – на “зрелище”, “узнав произвождение твое…” – на “что тебе дали чин”, “кавалерство” – “рыцарство”, “город протекает посредине река” – “посреди города протекает река” и т. д. И самое “батюшковское”: когда “близко природы” он правит на “в объятиях природы”[11].

“Великолепие и вся красота природы вкушается только невинным сердцем”, утверждал Муравьёв. Его нравственный идеал поздних лет – совмещение жизни внутренней (которую гармонизирует природа, творчество и дружба) с общественной, ведь только просвещённый искусствами, наукой и природой человек способен принести Отечеству на-

---

[11] Подробнее см.: *Космолинская Г.* Константин Батюшков – редактор “Эмилиевых писем” М.Н. Муравьёва // Рукописи. Редкие издания. Архивы. М.: Археографический центр, 1997.

стоящую пользу. Подобно стоикам, он считал критерием истинности совесть человека. Как наставник и воспитатель, он утверждал, что национальное самосознание человека формирует отечественная история и язык, и что для восприятия истории нужно быть философом и критиком, то есть уметь видеть в ней не “бесполезное знание маловажных приключений”, а поступательное движение от варварства к просвещению через постоянную борьбу добродетели с пороком, а истины с заблуждением (философ); и уметь отличать одно от другого (критик).

К осознанию подобных нравственных истин, проповеданных Муравьёвым в поздней прозе, Батюшков приблизится лишь после войны 1812 года, когда переживёт и свой кризис. Но сейчас он делает только первые шаги. Он читает стихи Муравьёва, которые подталкивают искать добродетель в лёгкости языка и правдивости душевных переживаний. Батюшков отдаст мечтательной поэзии первые годы, однако вскоре ему, как в своё время и Муравьёву, станет тесно. То, что критики будут по-прежнему ждать от него эпикурейства и радостей страсти – приводит его в бешенство. “Читательская инерция”, предсказуемая во все времена, угнетает поэта. Одной из причин, подтолкнувших неустойчивый батюшковский разум к помрачению, будет желание критиков видеть “прежнего Батюшкова”. Поздними стихами он преодолеет “читательское ожидание” и, как всякий большой поэт, перерастёт и критиков, и себя прежнего. Однако цена, ко-

торую ему придётся заплатить за превращение, будет слишком высокой.

<…>
Счастливая мечта, живи, живи со мной!
Ни свет, ни славы блеск пустой
Даров твоих мне не заменят.
Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,
Лобзая прах златой у мраморных крыльцов!
Но счастию певцов
Удел есть скромна сень, мир, вольность и спокойство.
Души поэтов свойство:
Идя забвения тропой,
Блаженство находить мечтой.
Их сердцу малость драгоценна:
Как бабочка влюбленна
Летает с травки на цветок,
Считая морем ручеек,
Так хижину свою поэт дворцом считает
И счастлив!.. Он мечтает.

(“Мечта”, первая редакция, 1802/1803*)*

Алексей Оленин. Алексей Оленин родился в 1763 году в особняке матери, урожденной княжны Волконской – в Москве, в Малом Кисловском переулке[12]. Спустя многие го-

[12] Этот дом (№ 5) и сегодня можно увидеть, правда, с “повёрнутым” фасадом – от сада на улицу. На памятной доске в честь Оленина допущена непростительная

ды точнее прочих охарактеризует Алексея Николаевича Василий Ключевский (слово “делец” тогда не имело отрицательного значения): “По своему общественному положению это был государственный делец, проходивший самые разнообразные служебные поприща; одно из блестящих произведений и оправданий школы Екатерины II и Бецкого, мечтавшей о воспитании дельцов, которые, подобно древнеримским деятелям, способны были бы становиться мастерами всюду, куда призывала их польза государства и отечества”.

Сообразно идеям Просвещения Екатерина считала, что должным воспитанием ума и сердца можно и в России “вывести” новую породу людей – дворян, живущих и служащих стране по совести и разуму. Первым и главным апостолом этого учения был Иван Бецкой, внебрачный сын князя Ивана Трубецкого и “крёстный отец” Смольного института и Воспитательных домов Москвы и Петербурга. Отправленный Екатериной на обучение за границу, Оленин стал “продуктом” его теории. Послужной список Алексея Николаевича, действительно, впечатляющ. Он был юнкер Пажеского корпуса и студент Артиллерийской школы в Дрездене; батарейный командир в шведской и польской кампаниях, а в Финляндии инженер. Он участвовал в ополчении 1806 года и помог “негодному к строевой службе” Батюшкову попасть в армию. При переходе на гражданскую службу он управлял конторой по закупке металлов, был чиновником Ассиг-

---

ошибка, а в самом особняке расположена резиденция посла Швейцарии.

национного банка, обер-прокурором 3-го департамента Сената, директором Юнкерской школы и императорской Публичной библиотеки, статс-секретарём Государственного совета и президентом Академии художеств, возродивший Академию из хозяйственного и художественного упадка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.